

Триумфальная арка

Автор:

Эрих Ремарк

Триумфальная арка

Эрих Мария Ремарк

Возвращение с Западного фронта

Место действия – Париж накануне Второй мировой войны.

Герой – хирург, спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, без документов, скрывающийся и от французов, и от нацистов.

Героиня – итальянская актриса, окруженная поклонниками, неотразимая и вспыльчивая, как все артисты.

И время, когда влюбленным довелось встретиться, и город, пронизанный ощущением надвигающейся катастрофы, также становятся героями этого романа...

Это история любви наперекор всему, любви, пусть и причиняющей боль, но и дарующей бесконечную радость.

Эрих Мария Ремарк

Триумфальная арка

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1945

1

Женщина появилась откуда-то сбоку и шла прямо на Равича. Шла быстро, но неуверенным, шатким шагом. Равич ее заметил, когда она уже почти поравнялась с ним. Лицо бледное, высокие скулы, глаза вразлет. Застывшее, опрокинутое лицо-маска, а в глазах тусклым отблеском фонаря мелькнуло выражение такой стеклянной пустоты, что Равич невольно насторожился.

Женщина прошла совсем близко, едва не задев Равича. Он резко вытянул руку и схватил незнакомку за локоть. Та пошатнулась и неминуемо бы упала, не поддержи он ее. Но он держал крепко.

– Куда это вы? – спросил он, чуть помедлив.

Женщина смотрела на него в упор.

– Отпустите меня, – прошептала она.

Равич не ответил. И продолжал крепко удерживать незнакомку.

– Да отпустите же! Что это значит? – Она едва шевелила губами.

Равичу показалось, что она вообще его не видит. Женщина смотрела куда-то мимо и сквозь него, устремив глаза в непроглядную ночную темень. Он был всего лишь помехой у нее на пути, и именно так она к нему и обращалась.

– Да пустите же!

Он сразу определил: нет, не шлюха. И не пьяная. Он чуть ослабил хватку. Теперь женщина при желании легко могла освободиться, но она этого даже не

заметила. Равич все еще ждал.

– Нет, без шуток, куда это вы среди ночи, одна, в такое время, в Париже? – повторил он свой вопрос как можно спокойнее, выпуская наконец ее руку.

Незнакомка молчала. Но и не уходила. Казалось, теперь, когда ее остановили, она уже не в силах сделать ни шагу.

Равич прислонился к парапету моста, ощутив под ладонями сырой, пористый камень.

– Уж не туда ли? – Он кивнул себе за спину, где, поблескивая тягучим свинцом, лениво и тяжело протискивалась под тень Альмского моста неостановимая Сена.

Женщина не отвечала.

– Рановато еще, – бросил Равич. – Рановато, да и холодно. Ноябрь как-никак.

Он достал сигареты и пошарил в кармане, нащупывая спички. Наконец нашел, понял на ощупь, что спичек в картонке осталось всего две штуки, и привычно ссутулился, укрывая пламя в ладонях, – от реки тянуло легким ветерком.

– Дайте и мне сигарету, – проронила незнакомка ровным, без выражения, голосом.

Равич поднял голову, потом показал ей пачку.

– Алжирские. Черный табак. Курево иностранного легиона. Вам, наверно, крепковаты будут. А других у меня нет.

Женщина качнула головой и взяла сигарету. Равич протянул ей горящую спичку. Курила она жадно, глубокими затяжками. Равич бросил спичку через парапет. Спичка прорезала тьму яркой падучей звездочкой и, коснувшись воды, погасла.

По мосту на малой скорости проползло такси. Шофер притормозил. Он посмотрел на них, подождал немного, потом резко газанул и покатил дальше по мокрой, лоснящейся, черной мостовой проспекта Георга Пятого.

Равич вдруг почувствовал, что устал до смерти. Весь день работал как проклятый, а потом никак заснуть не мог. Потому и вышел – захотелось чего-нибудь выпить. Но сейчас, в промозглой ночной мгле, усталость навалилась внезапно – будто ему мешок на голову набросили.

Он смотрел на незнакомку. Какого черта он ее остановил? Ясное дело, с ней что-то стряслось. Но ему-то что? Мало ли он женщин повидал, с которыми что-то стряслось, а уж среди ночи в Париже и подавно, и сейчас ему все это было безразлично, хотелось только одного – соснуть на пару часов.

– Шли бы вы домой, – сказал он. – В такое время – ну что вы на улице потеряли? Ничего хорошего, кроме неприятностей, вы тут не найдете.

И поднял воротник, твердо намереваясь уйти.

Женщина смотрела на него непонимающим взглядом.

– Домой? – переспросила она.

Равич пожал плечами:

– Ну да, домой, в свою квартиру или в гостиницу, куда угодно. Вы же не хотите заночевать в полиции?

– В гостиницу! О господи! – пробормотала женщина.

Равич обернулся. Еще одна неприкаянная душа, которой некуда податься, подумал он. Уж пора бы привыкнуть. Вечно одно и то же. Ночью они не знают, куда податься, а наутро, не успеешь глаза продрать, их уже и след простыл. Утром-то они прекрасно знают, куда им надо и что к чему. Старое, как мир, заурядное ночное отчаяние – накатывает вместе с темнотой и с ней же исчезает. Он выбросил окурок. Как будто сам он с лихвой всего этого не нахлебался.

– Пойдемте пропустим где-нибудь по рюмочке, – предложил он.

Это самое простое. Он расплатится и уйдет, а уж там пусть сама решает, как ей быть и что делать.

Женщина неуверенно двинулась вперед, но, споткнувшись, пошатнулась. Равич подхватил ее под руку.

– Устали? – спросил он.

– Не знаю. Пожалуй.

– До того устали, что не можете заснуть?

Она кивнула.

– Бывает. Пойдемте. Держитесь за меня.

Они пошли по проспекту Марсо. Равич чувствовал: незнакомка опирается на него так, словно вот-вот упадет.

Они свернули на проспект Петра Сербского. За перекрестком с улицей Шайо в убегающей перспективе между домами темной и зыбкой громадой на фоне дождливого неба воздвиглись очертания Триумфальной арки[1 - Триумфальная арка – монумент на площади Звезды (или площадь Этуаль, ныне площадь Шарля де Голля), возведенный по указу Наполеона в ознаменование побед французского оружия. – Здесь и далее примеч. пер.]

Равич кивнул в сторону вывески, что светилась над узкой подвальной лестницей:

– Нам сюда, тут наверняка что-нибудь найдется.

Это был шоферской кабак. За столиками несколько таксистов и пара-тройка шлюх. Таксисты резались в карты. Шлюхи потягивали абсент. Они, как по команде, хватким профессиональным взглядом смерили его спутницу. После чего равнодушно отвернулись. Та, что постарше, громко зевнула; другая начала лениво накрашиваться. В глубине совсем молоденький официант с лицом обиженного крысенка сыпанул на каменные плиты опилок и принялся подметать

пол. Равич выбрал столик возле самой двери. Так удобнее будет смыться. Пальто снимать не стал.

– Что будете пить? – спросил он.

– Не знаю. Что-нибудь.

– Два кальвадоса, – бросил он подошедшему официанту; тот был в жилетке, рукава рубашки засучены. – И пачку «Честерфилда».

– «Честерфилда» нет, – отрезал официант. – Только французские.

– Хорошо. Тогда пачку «Лоран», зеленых.

– Зеленых нет. Только синие.

Равич смотрел на руку официанта, на ней была татуировка – голая красotka вышагивает по облакам. Официант перехватил его взгляд и, сжимая руку в кулак, поиграл мышцей. Живот красотки похотливо задвигался.

– Тогда синих, – бросил Равич.

Гарсон осклабился.

– Может, и зеленые еще найдутся, – обнадежил он и удалился, шаркая шлепанцами.

Равич глянул ему вслед.

– Рыжие шлепанцы, татуировка с танцем живота, – пробормотал он. – Не иначе парень служил в турецком флоте.

Незнакомка положила руки на стол. Положила так, словно ей никогда их больше не поднять. Руки были ухоженные, но это еще ничего не значит. Да и не такие уж ухоженные. Вон ноготь на среднем пальце правой руки обломан и, похоже, просто обкусан. Да и лак кое-где облупился.

Официант принес две рюмки и пачку сигарет.

– «Лоран», зеленые. Нашлась одна пачка.

– Я в вас не сомневался. На флоте служили?

– Нет. В цирке.

– И того лучше. – Равич пододвинул женщине рюмку. – Вот, выпейте. В такое время – самый подходящий напиток. Или хотите кофе?

– Нет.

– Только залпом.

Женщина кивнула и опустошила рюмку. Равич пристально ее разглядывал. Лицо потухшее, мертвенно-бледное, почти без выражения. Губы припухлые, но тоже блеклые, как бы стершиеся в очертаниях, и только светло-русые волосы, тяжелые, с натуральным золотистым отливом, по-настоящему красивы. На ней был берет, а под плащом – синий, пошитый на заказ костюм. Костюм от дорогого портного, и только зеленый камень в кольце на руке слишком велик, чтобы быть настоящим.

– Выпьете еще? – спросил Равич.

Незнакомка кивнула.

Он подозвал официанта.

– Еще два кальвадоса. Только рюмки побольше.

– Только рюмки? Или побольше налить?

– Именно.

– Значит, два двойных?

– Вы догадливы.

Равич решил свой кальвадос выпить сразу же и смыться. Становилось скучно, да и устал он до смерти. Вообще-то он в подобных случаях бывал терпелив, как-никак за плечами сорок лет отнюдь не спокойной жизни. Однако все происходившее сейчас было ему слишком хорошо знакомо. Он уже несколько лет в Париже, у него бессонница, и, бродя по городу ночами, он всякого навидался.

Гарсон принес заказ. Равич бережно принял у него рюмки с пряной, душистой яблочной водкой и одну поставил перед незнакомкой.

– Вот, выпейте еще. Помочь не поможет, но согреет наверняка. И что бы там с вами ни стряслось – не переживайте. На свете не так уж много вещей, из-за которых стоит переживать.

Женщина вскинула на него глаза. Но пить не стала.

– Это правда так, – продолжил Равич. – Особенно ночью. Ночь – она все преувеличивает.

Женщина все еще смотрела на него.

– Меня утешать не надо, – проговорила она.

– Тем лучше.

Равич уже искал глазами официанта. С него довольно. Знает он этот сорт женщин. Должно быть, русская, подумал он. Такая еще обогреться и обсохнуть не успеет, а уже начнет учить тебя уму-разуму.

– Вы русская? – поинтересовался он.

– Нет.

Равич расплатился и встал, намереваясь откланяться. Но в тот же миг встала и женщина. Встала молча, как будто это само собой разумеется. Равич глянул на нее озадаченно. Ладно, подумал он, проститься можно и на улице.

Там, как выяснилось, начался дождь. Едва выйдя за порог, Равич остановился.

– Вам в какую сторону? – учтиво спросил он, про себя твердо решив, что пойдет в противоположную.

– Не знаю. Куда-нибудь.

– Но вы ведь где-то живете?

Незнакомку будто передернуло.

– Туда я не могу! Нет! Ни за что! Только не туда!

Дикий, безумный страх заметался в ее глазах. Обычный домашний скандал, подумал Равич. Крик, брань, вот она и выскочила на улицу. Завтра к обеду одумается и как миленькая вернется домой.

– И вам совсем не к кому пойти? К подружке, допустим? Отсюда можно позвонить.

– Нет. Не к кому.

– Но куда-то же вам надо податься. У вас что, нет денег на гостиницу?

– Есть.

– Так идите в гостиницу. Их тут в переулках полно.

Женщина не ответила.

– Но куда-то вам нужно деться, – повторил Равич, начиная терять терпение. – Не оставаться же на улице под дождем.

Женщина поплотнее закуталась в плащ.

– Вы правы, – отозвалась она. – Вы совершенно правы. Благодарю. Обо мне не беспокойтесь. Куда-нибудь пойду. Спасибо. – Рука ее потянулась к горлу, сжимая воротник на шее. – Спасибо за все.

Она подняла на Равича измученные глаза и попыталась изобразить улыбку. Потом зашагала прочь, куда-то в дождь, неслышным, но решительным шагом.

Равич смотрел ей вслед.

– Вот черт! – пробормотал он, вдруг смешавшись. Он и сам не знал, в чем тут дело – то ли всему виной этот ее взгляд и улыбка эта жалкая, то ли пустынная улица и темная ночь, – но он вдруг понял: эту женщину, что уходит от него сейчас в дождливую мглу, как потерявшийся ребенок, он просто не может оставить одну.

Он нагнал ее.

– Пойдемте, – буркнул он почти сердито. – Что-нибудь сообразим.

Они дошли до площади Звезды. Ее лучистые контуры огромной снежинки тонули сейчас в морозящей завесе и казались нескончаемыми. Туман сгустился, и улиц, что разбегаются от площади лучами, было не видно. Перед ними раскинулась только сама площадь, широченная, с разбросанными тут и там тусклыми лунами фонарей и мощной каменной аркой посередине, чья громада, пропадая в мгlistой дымке, казалось, подпирает собой насупленное небо, укрывая исполинскими сводами сиротливое, бледное и трепетное пламя на могиле неизвестного солдата, словно это последняя могила рода человеческого, затерянная среди безлюдья вечной ночи.

Они пошли через площадь напрямик. Равич шел быстро. Больно уж он измотан, чтобы еще и думать. Подле себя он слышал усталые, неуверенные шаги женщины, что молча следовала за ним, понунив голову, пряча руки в карманах плаща, – еще один трепетный, беззащитный огонек чьей-то жизни, о которой он ничего не знает, но которая именно сейчас, внезапно, посреди ночной пустынной площади показалась ему странно близкой, почти родной. Пусть она ему чужая,

как и сам он чувствует себя чужаком везде и всюду, – но именно это и сближало их сейчас сильнее всяких слов и прочнее долгих лет постылой привычки.

Равич жил в небольшой гостинице в одном из переулков возле Ваграмского проспекта, сразу за Тернской площадью. Строго говоря, это была не гостиница, а развалюха, и новой в ней была разве что вывеска над входом – «Отель Интернасьональ».

Он позвонил.

– Свободная комната есть? – спросил он заспанного паренька, открывшего им дверь.

Тот спросонок только бессмысленно хлопал глазами.

– Портье сейчас нет, – пробормотал он наконец.

– Это я и без тебя вижу. Я спросил, есть ли свободная комната.

Паренек испуганно пожал плечами. Он видел, что Равич привел женщину, и никак не мог взять в толк, с какой стати ему по такому случаю понадобилась еще одна комната. Сколько ему известно, женщин сюда приводят вовсе не для этого.

– Мадам спит. Если разбужу, она меня выгонит, – сообщил он, одной ногой почесывая другую.

– Замечательно. Тогда придется посмотреть без нее.

Равич сунул пареньку чаевые, взял свой ключ и вместе с женщиной направился к лестнице. Поднявшись наверх, он, прежде чем отпереть свою комнату, внимательно осмотрел соседнюю дверь. Выставленной обуви перед ней не было. Он постучал раз, потом другой. Никто не отозвался. Осторожно надавил на дверную ручку. Но дверь была заперта.

– Вчера еще была свободна, – буркнул он. – Что ж, попытаем счастья с другой стороны. Не иначе хозяйка заперла. Чтобы клопы не разбежались.

Он отпер свою комнату.

– Посидите тут. – Он кивнул на красную софу. – Я сейчас.

Он распахнул застекленную дверь, что вела на узкий балкон, ухватился за железную решетку, отделявшую его балкон от соседнего, перебрался туда по перилам и попробовал открыть дверь. Но и та оказалась запертой. Обескураженный, он тем же путем вернулся к себе в комнату.

– Дело дрянь. Похоже, нет у меня для вас комнаты.

Незнакомка сидела в самом углу софы.

– Можно, я немного тут посижу?

Равич глянул на нее пристально. Да на ней лица нет. Похоже, она и встать-то не в силах.

– Можете остаться.

– Я на минутку только.

– Да спите здесь. Это будет самое простое.

Казалось, женщина вообще его не слышит. Она покачала головой – медленно, почти машинально.

– Лучше бы оставили меня на улице. А теперь... теперь, похоже, я уже не смогу...

– Мне тоже так кажется. Оставайтесь здесь, поспите. Так будет лучше всего. А утром – там видно будет.

Женщина подняла на него глаза.

– Но я не хотела бы вас...

– Бог ты мой, – вздохнул Равич. – Да ничуть вы меня не стесните. Думаете, вы первая, кто у меня заночует, потому что некуда податься? Ведь эта гостиница – приют для беженцев. Здесь такое случается сплошь и рядом. Вам лучше устроиться на кровати. А я посплю на софе. Мне не впервой.

– Нет-нет, можно, я останусь тут, просто посижу? Этого вполне достаточно, если вы позволите.

– Хорошо, как вам угодно.

Равич скинул пальто и повесил на вешалку. Потом прихватил с кровати одеяло и подушку и придвинул к софе стул. Принес из ванной свой махровый халат и повесил на спинку стула.

– Вот, – сказал он. – Это все вам. Если желаете, могу еще предложить пижаму. В шкафу, в ящике, берите любую. Больше я о вас не забочусь. Можете занимать ванную. А у меня еще дела.

Незнакомка опять покачала головой.

Равич стоял над ней в недоумении.

– Плащ мы все-таки, пожалуй, снимем, – рассудил он. – Он у вас промок. И берет давайте.

Она послушно отдала и то и другое. Он положил подушку в изголовье софы.

– Это под голову. А стул – это чтобы вы во сне не свалились. – Он пододвинул стул вплотную к софе. – Так, а теперь туфли. Там наверняка полно воды. Для простуды ничего лучше не придумаешь. – Он стянул с нее туфли, достал из шкафа пару шерстяных носков и надел ей на ноги. – Ну вот, так еще куда ни шло. Скверные времена лучше переносить с удобствами. Старая солдатская заповедь.

– Спасибо, – вымолвила женщина. – Спасибо.

Равич направился в ванную, отвернул оба крана. Вода с шумом полилась в раковину. Он ослабил узел галстука и отрешенно глянул на себя в зеркало. Из глубокой тени глазных впадин на него устремился привычно-пристальный, цепкий, изучающий взгляд; лицо худое, можно считать, почти изможденное, если бы не глаза; губы, пожалуй, слишком мягкие на фоне двух глубоких морщин, что бороздами пролегли к уголкам рта от носа; а в довершение всего – длинный, в зазубринах, шрам, что от правой брови протянулся через весь лоб, заползая в волосы.

Телефонный звонок прервал его раздумья.

– Вот черт!

На секунду он забыл обо всем на свете. С ним такое бывает: чуть задумается – и полностью уходит в себя. А тут еще эта женщина...

– Сейчас подойду! – крикнул он. – Напугались? – Он снял трубку. – Да. Что?.. Так... конечно, да... Конечно, получится... Да. Где? Хорошо, еду. Горячего кофе, и покрепче... Хорошо.

Он аккуратно положил трубку и, сидя на краю софы, все еще думал о чем-то своем.

– Мне надо ехать, – сказал он затем. – Это срочно.

Женщина тут же вскочила. Но покачнулась и ухватилась за спинку стула.

– Нет-нет... – На короткий миг Равича тронула эта ее спешная покорная готовность. – Вы можете остаться. Спите. Мне нужно по делам, на час-другой, точно не знаю. Только не уходите никуда.

Он надел пальто. На секунду промелькнула нехорошая мысль, но он тут же ее отогнал. Эта женщина не украдет. Не из таких. Уж в этом-то он разбирается. Да и красть у него особенно нечего.

Он уже был в дверях, когда женщина спросила:

– Можно, я пойду с вами?

– Нет, это исключено. Оставайтесь здесь. Берите все, что понадобится. И кровать, если хотите, тоже ваша. Коньяк вон там. Спите...

Он повернулся, чтобы уйти.

– Только свет не гасите! – вдруг выпалила женщина.

Равич выпустил дверную ручку.

– Вам страшно?

Она кивнула.

Он показал ей на ключ.

– Запритесь. Только ключ выньте. Внизу, у портье, есть второй, им я и открою.

Она затрясла головой:

– Нет, не в том дело. Но, пожалуйста, свет оставьте.

– Вот оно что. – Равич глянул на нее испытующе. – Да я и не собирался гасить. Пусть горит. Это мне знакомо. Со мной такое тоже бывало.

На углу улицы Акаций он поймал такси.

– Улица Лористона, четырнадцать. Только скорее!

Водитель развернул машину и вырулил на проспект Карно. На перекрестке с проспектом Великой Армии справа на них вылетел маленький двухместный кабриолет. Столкновение было неизбежно, но их спасла мокрая мостовая. Кабриолет с визгом затормозил, его занесло вбок, и он чудом пролетел в каких-

то сантиметрах от радиатора таксомотора. Крутятся волчком, кабриолет пронесся дальше. Это был маленький «рено», за рулем которого сидел мужчина в очках и черном котелке. Вместе с машиной кружилось, то показываясь на секунду, то снова исчезая, его бледное от гнева лицо. Наконец машина выровнялась и свирепой зеленой саранчой рванула к Триумфальной арке, что возвышалась в конце улицы, словно исполинские врата ада, – только бледный вскинутый кулак еще долго грозил кому-то, тыча в ночное небо.

Таксист обернулся.

– Нет, вы такое видали?

– Видал, – отозвался Равич.

– Но чтобы в такой шляпе. В котелке, ночью, и так гонять?

– Он прав. Он был на основной дороге. Чем вы возмущаетесь?

– Ясное дело, он прав. Потому я и возмущаюсь.

– А если бы он был не прав, что тогда?

– Тоже бы возмущался.

– Вам, я погляжу, легко живется.

– Но я бы тогда совсем по-другому возмущался, – пояснил шофер, сворачивая на проспект Фоша. – Не с таким удивлением, понимаете?

– Нет. Лучше сбавляйте скорость на перекрестках.

– Да я и сам уже понял. Проклятая жижа на мостовой – все как маслом намазали. Только чего ради вы меня расспрашиваете, если потом сами слушать не хотите?

– Потому что устал, – раздраженно ответил Равич. – Потому что ночь. А еще, если угодно, потому что все мы только искры на ветру жизни. Езжайте.

– Ну, тогда другое дело, – уважительно протянул таксист и даже коснулся пальцами козырька фуражки. – Это я понимаю.

– Послушайте, – спросил Равич, осененный внезапной догадкой, – вы, часом, не русский?

– Нет. Но читаю много, пока пассажиров жду.

«На русских мне, значит, сегодня не везет, – подумал Равич. Он откинулся на спинку сиденья. – Кофе, – пронеслось у него в голове. – Очень горячего, черного. Надеюсь, кофе у них достаточно. Руки. Мне нужны чертовски твердые руки. В случае чего пусть Вебер сделает мне укол. Но все получится. Должно получиться». Он опустил стекло и долго, глубоко вдыхал влажный осенний воздух.

2

В небольшой операционной было светло как днем. Помещение больше всего напоминало сейчас бойню, только стерильную. Вокруг стояли ведра, полные окровавленной ваты, повсюду валялись бинты и тампоны, алые пятна крови в этом царстве медицинской белизны смотрелись вопиющей бестактностью. Вебер сидел в предбаннике за лакированным стальным столом и что-то записывал; его медсестра кипятила инструменты; вода бурлила, яркий свет, казалось, вот-вот зашипит, и только тело, распростертое на операционном столе, было от всего этого как бы отдельно – его уже ничто не трогало.

Равич плеснул себе на ладони жидкого мыла и принялся намыливать руки. Он тер их с таким ожесточением, будто надумал содрать с них кожу.

– Вот гадство! – цедил он сквозь зубы. – Дерьмо собачье!

Медсестра метала в него возмущенные взгляды. Вебер поднял глаза от своих бумаг.

– Спокойно, Эжени! Все хирурги ругаются. Особенно когда дело дрянь. Уж вам-то пора бы знать.

Сестра бросила пригоршню инструментов в кипящую воду.

– Профессор Перье никогда не сквернословил, – возразила она оскорбленным тоном. – И тем не менее спас много жизней.

– Профессор Перье оперировал на мозге. Это, считайте, все равно что точная механика. А наш брат в потрохах копается. Это совсем другое дело. – Вебер захлопнул тетрадь с записями и встал. – Вы хорошо работали, Равич. Но если до тебя приложил руку коновал, тут уж ничего поделывать нельзя.

– Да нет. Иногда можно. – Равич вытер руки и закурил. Медсестра с демонстративным неодобрением тут же распахнула форточку.

– Bravo, Эжени! – похвалил Вебер. – Все строго по инструкции.

– У меня есть обязанности в жизни. К тому же я вовсе не желаю взлететь на воздух.

– Вот и прекрасно, Эжени. Это успокаивает.

– А вот некоторые вообще без обязанностей живут. И не желают жить иначе.

– Это в ваш огород, Равич, – хохотнул Вебер. – Полагаю, лучше нам исчезнуть. Эжени с утра обычно не в духе. Да и нечего нам тут больше делать.

Равич окинул взглядом операционную. Глянул на медсестру, верную своим обязанностям. Та встретила его взгляд с иступленным бесстрашием. Никелированная оправа очков придавала ее пустому лицу холодную неприступность. А ведь она тоже человек, как и он, но любая деревяшка – и та ему ближе.

– Простите меня, – проговорил он. – Вы совершенно правы.

На белом столе лежало то, что еще пару часов назад было надеждой, дыханием, болью, трепетным биением жизни. Теперь же это был всего лишь никчемный труп – а бездушный человек-автомат в лице медсестры Эжени, страшно гордой тем, что она никогда не совершала ошибок, уже накрыл этот труп простыней и вывозил на каталке. Такие дольше всех живут, подумал Равич, жизнь просто не замечает эти деревянные души, вот и смерть их не берет.

– До свидания, Эжени, – сказал Вебер. – Желаю вам хорошенько отоспаться.

– До свидания, доктор Вебер. Спасибо, господин доктор.

– До свидания, – попрощался Равич. – И простите мне мою ругань.

– Всего хорошего, – ледяным тоном отозвалась Эжени.

Вебер ухмыльнулся:

– Железный характер!

На улице их встретило хмурое утро. По мостовым грохотали мусорные машины. Вебер поднял воротник.

– Ну и погодка! Вас подвезти, Равич?

– Нет, спасибо. Хочу прогуляться.

– В такую погоду? Я правда могу вас подвезти. Нам же почти по дороге.

Равич покачал головой.

– Спасибо, Вебер.

Вебер все еще вопросительно смотрел на него.

– Даже чудно, что вы все еще так переживаете, когда пациент умирает у вас под ножом. Вы ведь уже пятнадцать лет оперируете, должны бы привыкнуть.

– А я и привык. И не переживаю.

Вебер стоял перед ним, дородный, довольный. Его широкая, округлая физиономия светилась румянцем, как нормандское яблоко. В черных, аккуратно подстриженных усиках сияли капельки дождя. Рядом, приткнувшись к тротуару, стоял «бьюик» и тоже сиял. В этом авто Вебер сейчас чинно покатит восвояси, в свой розовый, как игрушка, загородный домик, где его ждут чистенькая жена, тоже сияющая, двое чистеньких, разумеется, сияющих детишек и вообще чистенькая, сияющая жизнь. Такому разве что-нибудь объяснишь, разве расскажешь о том неимоверном напряжении, когда, затаив дыхание, делаешь скальпелем первый разрез, когда в ответ на это усилие из-под лезвия струится первая алая струйка крови, когда тело, послушное движениям крючка и хватке зажимов, раскрывается перед тобой, словно многослойный занавес, высвобождая органы, что никогда еще не видели света, когда сам ты, словно охотник в джунглях, идешь по следу сквозь чащобы поврежденных тканей, сквозь узлы и сращения, все глубже продвигаясь к опухоли, и вдруг, внезапно, оказываешься один на один, с глазу на глаз с великим хищником по имени смерть, и начинается поединок, в котором все твоё оружие – только твои инструменты и невероятная твердость руки, – как растолкуешь ему, каково это, что это значит, когда в ослепительную белизну твоей беспредельной сосредоточенности холодом в крови вдруг вторгается черная тень этой вселенской издевки, способной затупить скальпель, сломать иглу, залить свинцом руку, и когда все то незримо трепетное, загадочное, пульсирующее, что звалось жизнью, вдруг утекает из-под твоих бессильных рук, распадается, меркнет, затянутое буруном призрачного, черного, мертвецкого водоворота, до которого тебе не добраться, с которым тебе не совладать; когда лицо человека, у которого только что было дыхание, имя, собственное «я», у тебя на глазах превращается в анонимную застывшую маску – и этот твой яростный, мятежный, но все равно бессмысленный гнев, – ну как, как все это объяснишь и что тут вообще объяснять?

Равич закурил следующую сигарету.

– Двадцать один год ей был, – только и сказал он.

Вебер носовым платком отирал капельки с усов.

– Вы отлично работали. Я бы так не смог. А если не удалось исправить то, что какой-то мясник наворочал, так вашей вины тут нет. Тут по-другому и не рассудишь, иначе куда бы это нас завело...

– Действительно, – отозвался Равич. – Куда бы это нас завело?

Вебер сунул платок обратно в карман.

– К тому же после всего, что вам довелось испытать, у вас, думаю, чертовская закалка.

Равич глянул на него со скрытой усмешкой.

– Закалки в таком деле не бывает. Разве что привычка.

– Так и я о том же.

– В том-то и беда, что не ко всему можно привыкнуть. Тут непросто разобраться. Давайте считать, что это все из-за кофе. Может, это и вправду кофе меня так взбудоражил. А мы думаем, что это от расстройства.

– А что, кофе и вправду был хорош, верно?

– Очень хорош.

– Хороший кофе – мой конек. Я как чувствовал, что вам кофе понадобится, поэтому сам и сварил. Ведь не сравнить с бурдой, которую варит Эжени?

– Никакого сравнения. По части кофе вы и впрямь мастак.

Вебер уселся в машину. Но все еще не спускал с него глаз, даже из окна высунулся.

– Может, вас все-таки подбросить по-быстрому, а? Вы, наверно, чертовски устали?

«Тюлень, – невольно подумал Равич. – Точь-в-точь тюлень и такой же здоровый. Но мне-то что? Что за чушь в голову лезет? И вот вечно так – говоришь одно, а в мыслях совсем другое».

– Я не устал, – ответил он. – Кофе меня взбодрил. Спите как следует.

Вебер рассмеялся. Под черными усами ослепительно сверкнули белоснежные зубы.

– Нет, я уже спать не лягу. Поработаю лучше в саду. Тюльпаны и нарциссы посадить надо.

Тюльпаны и нарциссы, эхом отозвалось в голове у Равича. На аккуратных клумбочках, среди чистеньких гравийных дорожек. Тюльпаны и нарциссы – персиковая и золотистая кипень весны.

– До свидания, Вебер, – сказал он. – Надеюсь, обо всем прочем вы позаботитесь?

– Разумеется. Сегодня же вечером вам позвоню. Гонорар, к сожалению, будет скромный. Даже говорить не о чем. Девчонка была бедная, и родни, похоже, никакой. Ну, там видно будет.

Равич отмахнулся.

– Эжени она сто франков отдала. Похоже, это все, что у нее было. Выходит, вам причитается двадцать пять...

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо оборвал его Равич. – До свидания, Вебер.

– До свидания. Завтра в восемь утра.

Равич медленно брел по улице Лористона. Будь сейчас лето, он бы устроился где-нибудь на скамейке в Булонском лесу, грелся бы на утреннем солнышке, смотрел бы, ни о чем не думая, на воду, на зелень, пока эта жуткая судорога напряжения где-то внутри сама не рассосется. А уж после поехал бы в гостиницу и завалился спать.

Он зашел в бистро на углу Буасьерской. У стойки несколько работяг да шоферюги с грузовиков. Почти все пьют кофе, макая в него булочки. Равич постоял, посмотрел на них. Простая, ясная, надежная жизнь, все в твоих руках: днем работа до упаду, вечером усталость, ужин, жена, а после мертвый сон без всяких сновидений.

– Вишневки, – заказал он бармену.

На щиколотке у умершей была тонкая цепочка дешевенькой позолоты – дурацкое украшение, какие позволительны разве что в молодости, от избытка сентиментальности и отсутствия вкуса. На цепочке даже пластинка имелась, а на пластинке надпись – «Toujour Charles»[2 - «Навеки Шарль» (фр.)], и все это без застежки, запаяно раз и навсегда, чтобы не снимать; цепочка, способная рассказать целую историю – о воскресных свиданиях в рощах по берегам Сены, о первой влюбленности и наивной юности, о ювелирной лавчонке где-нибудь в Нейи, о сентябрьских ночах в мансарде, – а потом вдруг задержка, ожидание, испуг, страх – и навеки Шарль, о котором ни слуху ни духу, и подружка, подсунувшая нужный адрес, и знахарка-повитуха, клеенка на столе, и вдруг боль, нестерпимая, режущая боль, и кровь, и растерянное лицо старухи, дряблые руки, торопливо, лишь бы избавиться, запикивающие тебя в такси, и долгие дни мучений, и хочется заползти куда-то, а потом наконец «скорая помощь», больница, последняя сотенная бумажка, скомканная в горячем, потном кулачке... – поздно, слишком поздно.

Над головой задребезжало радио. Танго, гнусавый голос, слащавые, пошлые слова. Равич поймал себя на том, что мысленно шаг за шагом повторяет весь ход операции. Перепроверяет каждое свое движение. На пару часов пораньше – и, возможно, еще был бы какой-то шанс. Вебер, конечно, распорядился срочно его вызвать. Но в гостинице его не было. И вот из-за того, что он проторчал у Альмского моста, девчонка умерла. А сам Вебер такие операции делать не может. Дурацкая цепь случайностей. Дурацкая цепочка на ступне, безжизненно вывернутой внутрь... «Приди в мою лодку, нам светит луна», – фальцетом верещал тенор.

Равич расплатился и вышел. Остановил такси.

– В «Осирис», – бросил он водителю.

«Осирис» – это был солидный, добротнo-буржуазный бордель с необъятным баром в древнеегипетском стиле.

– Так закрываемся уже, – попытался остановить его швейцар. – Никого нет.

– Совсем никого?

– Только мадам Роланда. А дамы все разошлись.

– Вот и прекрасно.

Портье поплелся за ним, сердито шаркая галошами.

– Может, вам лучше такси не отпускать? Здесь потом так просто не поймашь. А мы уже закончили...

– Это я уже слышал. И такси я как-нибудь раздобуду...

Равич сунул швейцару пачку сигарет в нагрудный карман и, миновав тесную прихожую и гардероб, вошел в просторный зал. Бар и вправду был пуст, являя собой зрелище привычного разгрома, учиненного подгулявшими буржуа: на полу окурки, озерца пролитого вина, несколько опрокинутых стульев, в воздухе затхлый настой табачного дыма, духов и пота.

– Роланда! – позвал Равич.

Она стояла у столика над горкой розового шелкового белья.

– Равич. – Она нисколько не удивилась. – Поздновато. Чего тебе – девочку или выпить? Или и то и другое?

– Водки. Польской.

Роланда принесла бутылку и стопку.

– Сам себе нальешь? Мне еще белье разобрать и записать надо все. Сейчас из прачечной приедут. Если не записать, эти ворюги все растащат, хуже сорок. Ну, шоферня, ты не понял? Девкам своим на подарки.

Равич кивнул.

– Включи музыку, Роланда. Погромче.

– Хорошо.

Роланда включила радио. Под высокими сводами пустого зала во всю мощь барабанов и литавр грянул музыкальный гром.

– Не слишком громко, Равич?

– Нет.

Слишком громко? Слишком громкой сейчас была только тишина. Тишина, от которой, казалось, тебя вот-вот разорвет, как в безвоздушном пространстве.

– Ну вот, готово. – Роланда подошла к столику Равича. Ладная фигура, ясное личико, спокойные черные глаза. И пуритански строгое черное платье, резко выделяющее ее среди полуголых девиц, – знак того, что она здесь распорядительница.

– Выпей со мной, Роланда.

– Давай.

Равич сходил к стойке за еще одной рюмкой, налил. Когда рюмка наполнилась наполовину, Роланда отстранила бутылку.

– Хватит. Больше не надо.

– Полрюмки – это не дело. Лучше просто не допей, оставишь.

– Зачем? Это ж только перевод добру.

Равич поднял глаза. Взглянул в ее надежное, такое рассудительное лицо и улыбнулся:

– Перевод добру. Вечный страх всех французов. А чего ради вся эта бережливость? Тебя, вон, не больно-то берегут.

– Так то ж коммерция. Совсем другое дело.

Равич рассмеялся.

– Тогда выпьем за коммерцию. Во что превратилось бы человечество, если бы не мораль торгашей? В сущий сброд: одни уголовники, идеалисты да лодыри.

– Тебе нужна девушка, – решила Роланда. – Хочешь, я позвоню, вызову Кики? Очень хороша. Двадцать один год.

– Вон как. Тоже двадцать один. Нет, это сегодня не для меня. – Равич снова наполнил свою рюмку. – Скажи, Роланда, перед сном о чем ты обычно думаешь?

– Обычно ни о чем. Устаю очень.

– Ну а когда не устаешь?

– Тогда о Туре.

– С какой стати?

– У одной из моих тетушек там дом с лавкой. Я уже два раза за нее закладную выкупала. Когда она умрет – ей семьдесят шесть, – дом мне достанется. Я тогда вместо лавки кафе открою. Обои светлые, чтобы в цветочек, живая музыка, ну, там, пианино, скрипка, виолончель, а в глубине зала бар. Небольшой, но со вкусом. А что, район хороший и место бойкое. Пожалуй, в девять с половиной тысяч я уложусь, даже на люстры и шторы хватит. Тогда у меня еще пять тысяч про запас останется на первое время. Ну и плата с жильцов к тому же, ведь второй и третий этажи я сдавать буду. Вот о чем я думаю.

– Ты сама из Тура?

– Да. Но там никто не знает, где я и что. А если дела хорошо пойдут, никто и интересоваться не станет. Деньги, они все прикроют.

– Не все. Но многое.

Равич уже чувствовал легкую тяжесть в голове, отчего и голос его теперь звучал как-то тягуче.

– По-моему, с меня достаточно, – сказал он, вытаскивая из кармана несколько бумажек. – И там, в Туре, ты выйдешь замуж, Роланда?

– Не сразу. Но через несколько лет – пожалуй. У меня там есть кое-кто.

– Ты к нему едешь?

– Редко. Он мне пишет иногда. Не на этот адрес, конечно. Вообще-то он женат, но жена его в больнице. Туберкулез. Врачи говорят, еще год, от силы два. И тогда он свободен.

Равич встал.

– Благослови тебя Бог, Роланда! У тебя трезвый ум.

Она улыбнулась, не заподозрив в его словах никакого подвоха. Видимо, и сама так считает. В ясном лице – ни тени усталости. Свеженькое, чистое личико, словно она только что встала. Эта знает, чего хочет. В жизни для нее нет тайн.

Небо прояснилось. Дождь кончился. Стальные писсуары по углам улиц стояли как маленькие бастионы. Швейцар ушел, ночь канула, начинался день, и толпы торопливых прохожих теснились перед дверями подземки, словно это норы, куда их так и тянет провалиться, принося себя в жертву некоему жуткому божеству.

Женщина на софе испуганно вскинулась. Но не вскрикнула – только вздрогнула, издав неясный, приглушенный звук, и так и застыла, приподнявшись на локтях.

– Тихо, тихо, – успокоил ее Равич. – Это всего лишь я. Тот, кто вас сюда и привел пару часов назад.

Женщина перевела дух. Равич толком не мог ее разглядеть: зажженная люстра и вползающее в окно утро заполняли комнату странным, выморочным светом.

– По-моему, это уже пора погасить, – сказал Равич, повернув выключатель.

В висках все еще постукивали мягкие молоточки опьянения.

– Завтракать будете? – спросил он.

Он напрочь забыл о своей гостье и, только забирая у портье ключ, вспомнил, тут же втайне понадеявшись, что та уже ушла. Он-то сам с радостью бы от нее избавился. Он хорошо выпил, шторы сознания в голове раздвинулись, цепочка времени со звоном порвалась, воспоминания и грезы, настырные и бесстрашные, обступили его. Хотелось побыть одному.

– Хотите кофе? – спросил он. – Это единственное, что здесь делают прилично.

Женщина покачала головой. Он глянул на нее пристальнее.

– Что-то не так? Кто-то приходил?

– Нет.

– Но я же вижу: что-то случилось. Вы же смотрите на меня, как на привидение.

Ее губы задрожали.

– Запах, – выдавила она наконец.

– Запах? – недоуменно повторил Равич. – Водка особенно не пахнет. Вишневка и коньяк тоже. А сигареты вы и сами курите. Что вас так напугало?

– Я не о том...

– Бог ты мой, тогда о чем?

– Тот же самый... тот же запах...

– Господи, эфир, что ли? – осенило Равича. – Вы про эфир?

Незнакомка кивнула.

– Вас что, оперировали?

– Нет... Но...

Равич не стал слушать дальше. Он распахнул окно.

– Сейчас выветрится. Можете пока выкурить сигарету.

Он прошел в ванную и отвернул оба крана. Посмотрел на себя в зеркало. Пару часов назад он вот так же тут стоял. Всего пару часов – а человека не стало. Вроде бы ничего особенного. Люди умирают во множестве, каждую секунду. Даже статистика какая-то есть на этот счет. Ничего особенного. Но для того, кто умрет, ничего важнее на свете не будет, ибо этот свет будет жить и кружить уже без него.

Он присел на край ванны и сбросил ботинки. Вечно одно и то же. Неумолимый распорядок бытия. Презренная проза пошлой привычки, вторгающаяся в сияние самых пышных миражей. Сколько бы ни нежились цветущие берега сердца в струях любви, но раз в несколько часов, кто бы ты ни был – поэт, полубог или последний идиот, – тебя стащит с самых блаженных небес потребность помочиться. И никуда ты от этого не денешься! Насмешка природы. Романтический флер над рефлексам жлез и урчанием пищеварения. Дьявольская издевка: органы экстаза, одновременно приспособленные для выделений и испусканий. Равич отбросил ботинки в угол. Дурацкое обыкновение

раздеваться. Даже от него никуда не деться! Только живя один, понимаешь, какая это чушь. Сколько в этом покорности, сколько самоуничижения. Много раз он из принципа засыпал не раздеваясь, лишь бы перебороть в себе эту слабость. Но все это была только видимость, самообман. От привычки и правил никуда не деться!

Он включил душ. Прохладная вода заструилась по телу. Он глубоко вздохнул и стал вытираться. Благо уютных мелочей. Вода, твое дыхание, вечерний дождь. Только живя один, начинаешь ценить и это. Благодарное отдохновение кожи. Легкое течение крови в крошечном мраке сосудов. Прилечь на опушке. Березы. Белые летние облака. Небо юности. Где они – бывшие тревожнения сердца? Забиты и задавлены суровыми тревожнениями бытия.

Он вернулся в комнату. Женщина на софе, укутавшись в одеяло, забила в самый угол.

– Холодно? – спросил он.

Она покачала головой.

– Страшно?

Она кивнула.

– Вы меня боитесь?

– Нет.

– Чего-то там? – Он указал на окно.

– Да.

Равич закрыл окно.

– Спасибо, – сказала она.

Он видел перед собой ее затылок. Плечи. Дыхание. Признаки жизни, пусть чужой, но жизни. Тепло. Не окоченевшее тело. Что можно подарить другому, кроме тепла? И можно ли подарить больше?

Женщина шевельнулась. Она дрожала. И смотрела на Равича. Он почувствовал, как разом отлегло от сердца. Пришла легкость и блаженная прохлада. Судорога отступила. Открылся простор. Словно он прожил ночь на чужой планете – а теперь снова очутился на Земле. Все вдруг стало просто, ясно: утро, женщина, – больше можно ни о чем не думать.

– Иди сюда, – сказал он.

Она не сводила с него глаз.

– Иди сюда, – повторил он, уже теряя терпение.

3

Равич проснулся. И сразу почувствовал на себе чей-то взгляд. Ночная гостья, уже одетая, сидела на софе. Но смотрела вовсе не на него, а в окно. Он-то надеялся, что она давно ушла. Ему стало не по себе оттого, что она все еще здесь. По утрам он не выносит возле себя посторонних.

Он прикинул, не попробовать ли снова уснуть, но мешала мысль, что на него будут смотреть. И решил, что пора от незнакомки избавиться. Если она денег ждет, еще проще. Да и вообще – что тут сложного? Он сел на кровати.

– Давно встали?

Вздрагнув, женщина обернулась.

– Не могла больше спать. Извините, если разбудила.

– Вы меня не разбудили.

Она встала.

– Я хотела уйти. Сама не знаю, почему не ушла.

– Подождите. Я сейчас. Только организую для вас завтрак. Знаменитый здешний кофе. На это у нас время еще есть.

Он встал, позвонил. Прошел в ванную. Заметил, что женщина тоже здесь побывала, но все было приведено в порядок, аккуратно разложено по местам, даже использованные полотенца. Пока чистил зубы, слышал, как пришла горничная с завтраком.

Он заторопился.

– Вам было неудобно? – спросил он, выходя из ванной.

– Что? – не поняла женщина.

– Ну, горничная, что она вас видит. Я как-то не подумал.

– Нет. Да она и не удивилась.

Женщина взглянула на поднос. Завтрак был на двоих, хотя Равич об этом не просил.

– Ну, это само собой. Как-никак мы все-таки в Париже. Вот ваш кофе. Голова болит?

– Нет.

– Это хорошо. А у меня болит. Но через часок перестанет. Вот булочки.

– Я не могу.

– Бросьте, можете. Вам просто кажется. Вы попробуйте.

Она взяла булочку. Но снова отложила.

– Правда не могу.

– Тогда выпейте кофе и выкурите сигарету. Солдатский завтрак.

– Хорошо.

Равич уже ел.

– Все еще не проголодались? – спросил он немного погодя.

– Нет.

Незнакомка загасила сигарету.

– Кажется... – начала она, но замялась.

– Что вам кажется? – спросил Равич скорее из вежливости.

– Кажется, мне пора.

– Дорогу знаете? Мы тут около Ваграмского проспекта.

– Не знаю.

– Сами-то вы где живете?

– В гостинице «Верден».

– Так это совсем рядом. Выйдем, я вам покажу. Мне все равно вас мимо портье проводить.

– Да, но не в том...

Она снова осеклась. Деньги, подумал Равич. Как всегда, деньги.

– Если у вас затруднения, я охотно вас выручу.

Он достал бумажник.

– Прекратите! Это еще что! – вспыхнула женщина.

– Ничего! – Равич поспешно спрятал бумажник. – Извините...

Она встала.

– Вы были... Я должна вас поблагодарить... Иначе бы я... Эта ночь... Одна я бы...

Только тут Равич вспомнил, что произошло. Начни она из такого пустяка раздувать любовную историю, это было бы просто смешно. Но что она станет его благодарить – этого уж он никак не ожидал, и это было еще неприятнее.

– Я бы совсем не знала, как быть.

Она все еще стояла перед ним в нерешительности. Какого черта она не уходит?

– Но теперь вы знаете, – пробормотал он, лишь бы что-то сказать.

– Нет. – Женщина посмотрела ему прямо в глаза. – Все еще не знаю. Знаю только, что что-то надо предпринять. Знаю, что нельзя просто так сбежать.

– Это уже немало, – бросил Равич, беря пальто. – Я провожу вас вниз.

– Это не обязательно. Скажите только... – Она снова замялась, мучительно подбирая слова. – Может, вы знаете... что надо делать... когда...

– Когда что? – не дождавшись продолжения, спросил Равич.

– Когда кто-то умер, – выпалила незнакомка, и тут вдруг плечи ее дрогнули. Она даже не всхлипывала, плакала почти беззвучно.

Равич дождался, пока она успокоится.

– У вас кто-то умер?

Она кивнула.

– Вчера вечером?

Она кивнула снова.

– Это вы его убили?

Женщина уставилась на него ошеломленно.

– Что? Что вы сказали?

– Вы его убили? Раз уж вы меня спрашиваете, что делать, я должен знать.

– Он умер! – выкрикнула она. – Сразу...

Она спрятала лицо в ладони.

– Он что, болел?

– Да.

– Врача вызывали?

– Да... Но он не хотел в больницу...

– Вчера врач приходил?

– Нет. Третьего дня. Но он... он с тем врачом разругался и не хотел больше его видеть.

– А другого вызывать не пробовали?

– Других мы не знаем никого. Мы здесь всего три недели. Этого нам официант разыскал. Но он... он от него отказался... сказал, что сам знает... лучше уж сам будет лечиться...

– Что у него было?

– Точно не знаю. Врач сказал – воспаление легких. Но он не поверил. Мол, все врачи шарлатаны. И вчера ему и вправду стало лучше... А потом вдруг...

– Почему вы в больницу его не положили?

– Он не хотел... Говорил... Вбил себе в голову, что без него я стану ему изменять... Он... Вы его не знаете... Бесполезно уговаривать...

– Он все еще в гостинице лежит?

– Да.

– Вы хозяину сообщили?

– Нет. Когда вдруг все стихло... эта тишина... и его глаза... я не выдержала и просто сбежала...

Равич еще раз припомнил минувшую ночь. На секунду он смутился. Но что было, то было, теперь-то не все ли равно – и ему, и ей. Особенно ей. Этой ночью ей было ни до чего, лишь бы выстоять. А на всяких там сантиментах свет клином не сошелся. Лавинь[З - Лавинь, Эрнст Губерт (1834–1893) – французский художник и скульптор.], когда узнал, что жена его умерла, всю ночь провел в публичном доме. Продажные девки его спасли; надеяться на священников он не стал. Кто в силах понять – поймет. Объяснения тут бесполезны. Зато потом это тебя обязывает...

Он накинул пальто.

– Пойдемте. Я схожу с вами. Это был ваш муж?

– Нет, – ответила женщина.

Хозяином гостиницы «Верден» оказался гнусного вида толстяк. На лысом черепе ни волосинки, зато крашенные черные усы и кустистые брови тревожно встопорщены. Он маячил посреди вестибюля, из-за спины выглядывал официант, за официантом горничная, за горничной – плоскогрудая кассирша. Равич с первого взгляда понял: этому уже все известно. При виде женщины толстяк побагровел и замахал пухлыми ручонками, обрушивая на постоялицу весь свой праведный гнев, к которому, впрочем, как нетрудно было заметить, примешивалось и несомненное облегчение. Когда он, вволю отведя душу на проклятых иностранцах, перешел к угрозам, упомянув подозрения, полицию и тюрьму, Равич его остановил.

– Вы не из Прованса? – вежливо спросил он.

Хозяин опешил.

– Нет. А это еще при чем?

– Да ни при чем, – бросил Равич. – Просто хотелось вас прервать. А для этого лучше всего годится какой-нибудь идиотский вопрос. Иначе вы бы еще битый час тут распинались.

– Сударь! Да кто вы такой? И что вам тут нужно?

– Пока что это ваша первая разумная фраза.

Хозяин опомнился.

– Кто вы такой? – повторил он, но уже тише и с явной опаской ненароком оскорбить влиятельную особу.

– Я врач.

Хозяин мигом сообразил – бояться нечего.

– Врачи нам уже не нужны! – заорал он с новой силой. – Нам тут полиция нужна!

А сам искоса поглядывал на Равича и женщину, явно ожидая испуга, протестов и просьб с их стороны.

– Отличная мысль. Но если так, почему ее все еще нет? Ведь вам уже несколько часов известно, что у вас умер постоялец.

Хозяин озадаченно молчал и только яростно таращился на Равича.

– Я вам скажу почему. – Равич шагнул поближе. – Потому что вы не хотите переполошить других постояльцев. Ведь многие из них в таком случае съедут. Однако без полиции тут не обойтись – закон есть закон. И только от вас зависит, чтобы все это прошло как можно тише. Но беспокоит вас совсем не это. Вы испугались, что вас надули, подкинули вам покойника и оставили расхлебывать всю эту кашу. Как видите, это не так. Еще вы боялись, что вам не заплатят по счету. Не волнуйтесь, счет будет оплачен. А теперь я хотел бы взглянуть на умершего. Остальным займусь потом.

Минуя хозяина, Равич невозмутимо направился к лестнице.

– Какой у вас номер? – спросил он у женщины.

– Четырнадцатый.

– Вам не обязательно со мной ходить. Я все сам сделаю.

– Нет. Я не хочу здесь оставаться.

– Лучше бы вам этого не видеть.

– Нет. Я не хочу здесь оставаться.

– Хорошо. Как вам будет угодно.

Комната оказалась низкая, окнами на улицу. Перед дверью столпились горничные, коридорные, официант. Равич жестом заставил всех посторониться. Две кровати. На той, что у стены, лежит мужчина. Желтый, неподвижный, как восковая фигура, со странно живыми курчавыми волосами, в красной шелковой пижаме. Рядом с ним на ночном столике – дешевенькая деревянная фигурка мадонны со следами губной помады на лице. Равич взял ее, чтобы разглядеть получше, обнаружил на тыльной стороне надпись «Made in Germany»[4 - «Сделано в Германии» (англ.)]. Он еще раз взглянул на покойного: нет, у того губы не покрашены, да и по виду не похож. Глаза приоткрыты, один больше, другой меньше, отчего все лицо приобрело выражение странного безразличия, так и застыв в судороге вечной скуки.

Равич наклонился поближе. Изучил пузырьки с лекарствами на ночном столике, осмотрел тело. Следов насилия нет. Он выпрямился.

– Как звали врача, который к вам приходил? – спросил он у женщины. – Фамилию помните?

– Нет.

Он глянул на нее повнимательнее. Бледная как полотно.

– Сядьте-ка вон туда. Вон на тот стул в углу. Там пока и посидите. Официант, который вызывал вам врача, здесь?

Он обвел глазами собравшихся у двери. На всех лицах одно и то же выражение: смесь ужаса и жадного любопытства.

– На этом этаже Франсуа работает, – сообщила уборщица, выставив перед собой швабру, точно копье.

– Где Франсуа?

Официант протиснулся вперед.

– Как звали врача, который его лечил?

– Боннэ. Шарль Боннэ.

– Телефон его у вас есть?

Официант порылся в карманах.

– Пасси 27-43.

– Хорошо. – Равич разглядел в коридоре физиономию хозяина. – А теперь распорядитесь-ка закрыть дверь. Или вам охота, чтобы сюда сбежалась вся улица?

– Нет! Вон! Все вон отсюда! Чего встали? Побездельничать решили за мой счет?

Хозяин вытолкнул всех в коридор и прикрыл дверь. Равич снял телефонную трубку, набрал номер Вебера и переговорил с ним. Потом позвонил по номеру в Пасси. Боннэ вел прием. Он подтвердил все, что рассказала женщина.

– Этот человек умер, – сообщил Равич. – Вы не могли бы приехать и выписать справку о смерти?

– Этот человек меня выгнал. Причем самым оскорбительным образом.

– Теперь он уже не в силах вас оскорбить.

– Но он не заплатил мне за визит. Предпочел меня обозвать: дескать, я не врач, а рвач, да еще и шарлатан.

– Приезжайте, и ваш счет будет оплачен.

– Я могу кого-нибудь прислать.

– Лучше вам приехать самому. Иначе плакали ваши денежки.

– Хорошо, – согласился Боннэ после непродолжительного раздумья. – Но я ничего не подпишу, пока мне не заплатят. За все про все триста франков.

– Вот и прекрасно. Триста франков. Вы их получите.

Равич повесил трубку.

– Мне очень жаль, что вам приходится все это выслушивать, – сказал он женщине. – Но по-другому никак. Без него нам не обойтись.

Женщина уже доставала купюры.

– Ничего страшного, – сказала она. – Для меня это не внове. Вот деньги.

– Не спешите. Он сейчас приедет. Ему и отдадите.

– А сами вы справку о смерти выписать не можете?

– Нет. Тут нужен французский врач, – пояснил Равич. – Желательно тот, кто его лечил, так будет проще всего.

После ухода Боннэ, едва за ним закрылась дверь, в комнате повисла гнетущая тишина. словно не просто человек вышел, а что-то еще случилось. Шум машин с улицы доносился теперь как будто сквозь воздушную стену, просачиваясь сквозь нее с превеликим трудом. На смену суете и суматохе минувшего часа в свои права полновластно вступил покойный. Его великое безмолвие осязаемо заполнило собой все пространство дешевой гостиничной комнаты, и не важно было, что на нем шелковисто-переливчатая красная пижама, – будь он хоть в шутовском наряде клоуна, он все равно бы властвовал одной этой своей каменной неподвижностью. Ибо все живое движется, а всему, что движется, энергично ли, грациозно или, наоборот, неуклюже, не дано это отрешенное величие неподвижности, величие кончины, после которой лишь распад и тлен. Только в этой неподвижности явлено совершенство, даруемое каждому покойнику, да и то лишь на краткий срок.

– Так он не был вашим мужем? – еще раз спросил Равич.

– Нет. Да и какая разница?

– Законы. Наследство. Полиция будет составлять опись имущества – что принадлежит вам, что ему. Все ваше оставят вам. А на его имущество будет наложен арест. До появления наследников, если таковые обнаружатся. У него вообще есть родственники?

– Не здесь, не во Франции.

– Но вы ведь с ним жили?

Женщина не ответила.

– Долго?

– Два года.

Равич оглядел комнату.

– У вас что, чемоданов нет?

– Почему?.. Были. Они... вон там стояли... у стены. Еще вчера вечером...

– Понятно. Хозяин.

Равич распахнул дверь. Уборщица со шваброй испуганно шарахнулась в сторону.

– Мамаша, – укорил ее Равич, – вы не по годам любопытны.

Старуха возмущенно зашипела.

– Вы правы, правы, – опередил ее Равич. – В ваши годы чем еще себя потешить? А сейчас позовите мне хозяина.

Старуха фыркнула и со шваброй наперевес кинулась прочь.

– Весьма сожалею, – вздохнул Равич. – Иначе никак нельзя. Вам, вероятно, все это кажется ужасно беспардонным, но тут чем скорее, тем лучше. А если вы

сейчас чего-то не понимаете, вам же легче.

– Я понимаю, – вымолвила женщина.

Равич глянул на нее.

– Понимаете?

– Да.

С листком в руках появился хозяин. Он вошел, даже не постучав.

– Где чемоданы? – спросил Равич.

– Сперва счет. Вот он. Первым делом пусть мне оплатят счет.

– Первым делом вы вернете чемоданы. Никто пока что не отказывался платить по счетам. И от комнаты пока тоже никто не отказался. А в следующий раз, прежде чем войти, потрудитесь постучать. Давайте ваш счет и распорядитесь принести чемоданы.

Толстяк смотрел на него с яростью.

– Да получите вы ваши деньги.

Хлопнув дверью, хозяин вылетел вон.

– Деньги в чемоданах? – спросил Равич.

– Я... Нет, по-моему, нет...

– Тогда где? В костюме? Или их вовсе не было?

– Деньги были у него в бумажнике.

– Где бумажник?

– Он под... – Женщина замялась. – Обычно он держал его под подушкой.

Равич встал. Осторожно приподнял подушку вместе с головой покойного, нашарил кожаный черный бумажник и передал женщине.

– Возьмите деньги и все, что сочтете важным. Да скорей же! Сейчас не до сантиментов. На что-то ведь вам надо жить. А для чего еще нужны деньги? Без пользы в полиции валяться?

Он отвернулся и уставился в окно. На улице водитель грузовика материл зеленщика за то, что тот своим фургоном и парой лошадей перегородил дорогу. Судя по всему, мощный мотор внушал ему чувство бесспорного превосходства. Равич обернулся.

– Все?

– Да.

– Дайте сюда бумажник.

Он сунул бумажник обратно под подушку. Отметил про себя, что бумажник заметно похудел.

– Положите все в сумочку, – велел он.

Женщина повиновалась. Равич принялся изучать счет.

– Вы уже оплачивали здесь счета?

– Точно не помню. По-моему, да.

– Это счет за две недели. Всегда ли... – Равич запнулся. Почему-то язык не поворачивался назвать сейчас покойного просто «господином Рашинским». – Счета всегда оплачивались в срок?

– Да, неукоснительно. Он то и дело повторял: в его положении важно за все платить вовремя.

– Ну и скотина же этот ваш хозяин! Как по-вашему, последний оплаченный счет где может лежать?

В дверь постучали. Равич не смог сдержать улыбку. Коридорный внес чемоданы. За ним шествовал хозяин.

– Чемоданы все? – спросил Равич у женщины.

– Да.

– Разумеется, все, – буркнул толстяк. – А вы как думали?

Равич взял тот, что поменьше.

– Ключ от чемодана у вас есть? Нет? Тогда где он может быть?

– В шкафу? У него в костюме.

Равич распахнул шкаф. Тот был пуст.

– Ну? – спросил он, обернувшись к хозяину.

– Ну? – накинулся тот на коридорного.

– Костюм... Я его вынес, – пролепетал тот.

– Зачем?

– Почистить... отутюжить...

– Это, пожалуй, уже ни к чему, – заметил Равич.

– Сейчас же неси сюда костюм, ворье поганое! – заорал хозяин.

Коридорный как-то странно, чуть ли не с подмигиванием, глянул на хозяина и вышел. И почти сразу вернулся с костюмом. Равич встряхнул пиджак, потом брюки. В брюках что-то тихонько звякнуло. Равич на секунду замешкался. Как-то чудно лезть в брюки мертвеца. Словно костюм вместе с ним скончался. А еще чуднее всякую чушь думать. Костюм – он и есть костюм.

Он вытащил ключ и открыл чемодан. Сверху лежала парусиновая папка.

– Это она? – спросил он у женщины.

Та кивнула.

Счет нашелся сразу. Он был оплачен. Равич сунул его под нос хозяину.

– Вы приписали лишнюю неделю.

– Да? – взвился толстяк. – А переполох? А все это свинство? А волнения? Это, по-вашему, все даром? А что у меня опять желчь разыгралась – это, по-вашему, и так входит в стоимость? Вы сами сказали – постояльцы съедут! Столько убытков! А кровать? А дезинфекция номера? А изгвазданное покрывало?

– Покрывало в счете числится. Но там еще и ужин за двадцать пять франков вчера вечером. Вы вчера что-нибудь заказывали? – спросил он у женщины.

– Нет, – ответила та. – Но, может, я просто заплачу? Я... Мне хотелось бы уладить это поскорее...

Уладить поскорее, мысленно повторил за ней Равич. Знаем, проходили. А потом тишина и только покойник. И, словно дубиной по голове, оглушительная поступь безмолвия. Нет уж, пусть лучше так, хоть это и омерзительно. Он взял со стола карандаш и принялся за подсчеты. Потом протянул счет хозяину.

– Согласны?

Толстяк взглянул на итоговую цифру.

– За сумасшедшего меня держите?

– Согласны? – повторил вопрос Равич.

– Да кто вы вообще такой? И с какой стати лезете не в свое дело?

– Я – брат, – сухо пояснил Равич. – Согласны?

– Плюс десять процентов на обслуживание и налоги. Иначе никак.

– Идет. – Равич накинул десять процентов. – С вас двести девяносто два франка, – сообщил он женщине.

Та извлекла из сумочки три сотенных и протянула хозяину. Толстяк взял купюры и двинулся к двери.

– К шести часам попрошу освободить помещение. Иначе еще за сутки заплатите.

– С вас восемь франков сдачи, – напомнил ему Равич.

– А портье?

– Портье мы отблагодарим сами.

Хозяин шваркнул на стол восемь франков.

– Sales étrangers[5 - Иностранцы поганые (фр.)], – буркнул он себе под нос, выходя из комнаты.

– Это особая гордость хозяев иных французских отелей: они полагают себя вправе ненавидеть иностранцев, живя за их счет.

Равич заметил коридорного, который все еще маячил у двери с чаевыми в глазах.

– Вот вам.

Коридорный сперва посмотрел на купюру.

– Благодарю вас, месье, – проговорил он и удалился.

– Теперь надо дожидаться полицию, и только потом можно будет его вывезти, – сказал Равич, бросив взгляд на женщину.

В сгущающихся сумерках та сидела в углу между двумя чемоданами.

– Стоит умереть, и ты сразу важная птица... А пока живешь, до тебя никому нет дела.

Равич глянул на женщину еще раз.

– Может, вам лучше вниз спуститься? – предложил он. – Там у них что-то вроде канцелярии...

Она покачала головой.

– Я могу с вами пойти. Сейчас мой приятель приедет, доктор Вебер. Он уладит все вопросы с полицией. Можем подождать его внизу.

– Нет. Я хотела бы остаться здесь.

– Но здесь... здесь уже ничего не поделаешь. Зачем вам тут оставаться?

– Не знаю. Он... ему уже недолго тут лежать... А я часто... Он не был счастлив со мной. Я часто уходила. Хоть теперь останусь.

Она произнесла это спокойно, без всякого надрыва.

– Он об этом уже не узнает, – заметил Равич.

– Не в том дело...

– Ладно. Тогда давайте выпьем. Вам это нужно.

Не дожидаясь ответа, Равич позвонил. Официант явился неожиданно быстро.

– Два двойных коньяка принесите.

– Сюда?

– Конечно. А куда еще?

– Слушаюсь, сударь.

Он принес две рюмки и бутылку курвуазье. Пугливо покосился в угол на смутно мерцающую в сумерках кровать.

– Свет зажечь? – спросил он.

– Не надо. А вот бутылку можете оставить.

Официант поставил поднос на стол и, еще раз оглянувшись на кровать, стремглав удалился.

Равич дополна налил обе рюмки.

– Выпейте, – потребовал он. – Вам станет легче.

Он ожидал, что женщина станет отказываться, и уже приготовился ее уговаривать. Но та без колебаний выпила все до дна.

– В чемоданах есть еще что-то нужное? Важное для вас?

– Нет.

– Что-то, что вы хотели бы сохранить? Что может вам пригодиться? Не хотите хотя бы взглянуть?

– Нет. Ничего там нет. Я знаю.

– И в маленьком чемодане тоже?

– Может быть. Не знаю, что он там держал.

Равич взял чемодан, положил на стол, раскрыл. Несколько бутылок, кое-что из белья, пара блокнотов, коробка акварельных красок, кисточки, книга, в боковом кармашке парусиновой папки – тонкий сверток из пергаментной бумаги. Две купюры. Равич посмотрел их на свет.

– Тут сто долларов, – сообщил он. – Возьмите. Сколько-то времени сможете на них прожить. Мы этот чемоданчик к вашим вещам поставим. С тем же успехом он мог принадлежать и вам.

– Спасибо, – вымолвила женщина.

– Вам, наверно, все это кажется отвратительным. Но это необходимо. Ведь это важно для вас. Деньги – это для вас время.

– Мне это не кажется отвратительным. Просто сама я бы не смогла.

Равич снова наполнил рюмки.

– Выпейте еще.

Она выпила, теперь уже медленно.

– Ну как, лучше? – спросил он.

Она подняла на него глаза.

– Не лучше и не хуже. Вообще никак.

В полумраке ее было почти не видно. Лишь изредка красноватый отблеск рекламы мерцающим всполохом пробежал по рукам и лицу.

– Не могу ни о чем думать, пока он здесь, – призналась она.

Двое санитаров, придвинув носилки к кровати, сбросили с покойника одеяло. Переложили тело на носилки. Все это молча, быстро, деловито. Равич встал к женщине поближе – на тот случай, если она вздумает брякнуться в обморок. Пока санитары не накрыли тело, он наклонился над покойником и взял с ночного столика деревянную фигурку мадонны.

– По-моему, это ваше, – сказал он женщине. – Забирать не будете?

– Нет.

Он попытался сунуть фигурку ей в руки. Она не брала. Тогда он раскрыл маленький чемодан и положил мадонну туда.

Санитары тем временем набросили на труп покрывало. Подняли носилки. Дверь оказалась узкая, да и коридор не слишком широкий. Сколько ни пробовали они развернуться, все было тщетно – носилки утыкались в стену.

– Придется его снять, – решил тот, что постарше. – Так не пройдет.

И выжидательно посмотрел на Равича.

– Пойдемте, – сказал Равич женщине. – Нам лучше подождать внизу.

Женщина покачала головой.

– Хорошо, – бросил он санитарам. – Делайте как знаете.

Те за руки за ноги сняли тело с носилок и переложили на пол. Равич хотел что-то сказать. Посмотрел на женщину. Та стояла как вкопанная. Он промолчал. Санитары сперва вынесли носилки. Потом нырнули обратно в полумрак комнаты

и вытащили тело в тускло освещенный коридор. Равич шел за ними. На поворотах лестницы тело приходилось поднимать. Лица санитаров от натуги побагровели и взмокли, они вовсю пыхтели, а покойник колыхался над ними, как живой. Равич дождался, пока они снесут тело вниз. Потом вернулся.

Замерев у окна, женщина смотрела на улицу. Там стояла машина. Санитары засунули тело в недра фургона, как пекарь сажает в печь хлеб. Потом уселись в кабину, мотор будто воем из преисподней истошно взревел, и машина, резко рванув с места и качнувшись на повороте, скрылась за углом.

Женщина обернулась.

– Я же говорил: надо было вам сразу спуститься, – буркнул Равич. – К чему смотреть на все это?

– Я не могла. Не могла уйти раньше его. Неужели не понимаете?

– Понимаю. Пойдемте. Выпейте еще.

– Нет.

Когда приехала полиция и санитары, Вебер включил свет. Теперь, без покойника, комната казалась просторнее и выше. Просторнее, выше, но все равно какой-то странно нежилой, словно мертвеца унесли, а сама смерть осталась.

– Останетесь в этой же гостинице? Ведь нет же?

– Нет.

– Знакомые у вас тут есть?

– Нет. Никого.

– А гостиница другая есть на примете?

– Нет.

– Тут поблизости есть гостиница, тоже небольшая, вроде этой. Но там чисто, и вообще порядочное заведение. Можно там что-нибудь для вас подыскать. Гостиница «Милан».

– А нельзя мне в ту гостиницу, где... Ну, в вашу?

– В «Интернасьональ»?

– Да... Я... там... словом, я ее уже немного знаю. Все-таки лучше, чем что-то совсем незнакомое...

– «Интернасьональ» не самое подходящее место для женщины, – заметил Равич. «Этого еще не хватало, – подумал он. К нему в гостиницу. – Что я ей – сиделка, что ли? А потом, уж не думает ли она, часом, что нас теперь что-то связывает? Бывает же». – Там всегда полно. И все сплошь беженцы. Нет, вам лучше в «Милан». А если там вам вдруг не понравится, переехать никогда не поздно.

Женщина вскинула на него глаза. Ему почудилось, будто она угадала его мысли, и на миг стало стыдно. Но лучше сейчас миг стыда, зато потом живи спокойно.

– Хорошо, – сказала женщина. – Вы правы.

Равич распорядился снести чемоданы вниз и вызвать такси. Гостиница «Милан» и впрямь была всего в нескольких минутах отсюда. Он снял номер и вместе с женщиной поднялся наверх. Комната была на третьем этаже: обои с розочками, кровать, шкаф, стол и два стула.

– Это вас устраивает? – спросил он.

– Да. Очень хорошо.

Равич смотрел на обои. Ужас, а не обои.

– По крайней мере светло, – заметил он. – Светло и чистенько.

– Да.

Внесли чемоданы.

– Ну, вот вы и на новом месте.

– Да. Спасибо. Спасибо большое.

Женщина уже сидела на кровати. Опять эта бледность, и опять на ней лица нет.

– Вам надо выспаться. Заснуть сможете?

– Попробую.

Равич достал из кармана алюминиевую трубочку и вытряхнул оттуда несколько таблеток.

– Вот вам снотворное. Запьете водой. Сейчас примете?

– Нет. Позже.

– Ладно. Мне пора. Через пару дней загляну вас проведать. Попытайтесь поскорее заснуть. На всякий случай вот адрес похоронной конторы. Но сами лучше туда не ходите. Поберегите себя. Я к вам еще наведаюсь. – Равич замялся. – Как вас зовут?

– Маду. Жоан Маду.

– Жоан Маду. Хорошо. Я запомню. – Он знал, что ни черта не запомнит и проведать тоже не придет. И именно поэтому решил придать своим словам побольше достоверности. – Лучше уж запишу, – пробормотал он, вытаскивая из кармана блокнот с бланками для рецептов. – Вот. Может, сами напишете? Так проще будет.

Она взяла блокнот, написала имя и фамилию. Он взглянул на листок, вырвал его из блокнота и сунул в карман пальто.

– Лучше вам сразу лечь спать, – посоветовал он. – Как говорится, утро вечера мудренее. Присказка дурацкая и затаканная, но в вашем случае верная: все, что вам сейчас требуется, – это сон и немного времени. Какой-то срок, чтобы выстоять. Понимаете?

– Да. Я понимаю.

– Так что примите таблетки и ложитесь спать.

– Хорошо. Спасибо вам... Даже не знаю, что бы я без вас делала. Правда не знаю.

Она протянула ему руку. Ладонь была холодная, но пожатие оказалось неожиданно крепким. Вот и хорошо, подумал он. Уже какая-то решимость...

Равич вышел на улицу. Жадно глотнул влажного, теплого ветра. Машины, прохожие, первые шлюхи по углам – здешние, этих он не знает, – пивнушки, быстро, в воздухе смесь табачного дыма, выпивки и бензина – кипучая, переменчивая, стремительно несущаяся жизнь. Он обвел глазами фасады домов. Тут и там уже зажглись окна. В одном видна женщина, просто сидит и смотрит. Он выудил из кармана листок с именем, порвал и выбросил. Забыть. Слово-то какое... В нем и ужас, и утешение, и призрачные миражи... Не умея забывать – как прожить на свете? Но кто способен забыть до конца? Шлаки воспоминаний, раздирающие нам сердце. Свободен лишь тот, кому не для чего больше жить...

Он дошел до площади Звезды. Там толпился народ. Триумфальная арка тонула в сиянии прожекторов. Мощные столбы света выхватывали из тьмы могилу Неизвестного солдата. Над ней колыхалось на ветру огромное сине-бело-красное полотнище. Праздновали двадцатилетие перемирия 1918 года.

Небо насупилось, и на мгливой, рваной пелене облаков лучи прожекторов высвечивали зыбкую, дрожащую тень стяга. Казалось, полотнище гибнет, тонет в меркнувшей пучине неба. Где-то надрывался военный оркестр. Завывали трубы, звенела медь. Никто не подпевал. Толпа стояла молча.

– Перемирие, – бормотала женщина рядом с Равичем. – С прошлой войны муж не вернулся. Теперь, выходит, сын на очереди. Перемирие... То ли еще будет...

Новый температурный листок над койкой был девственно чист. В нем значились только имя и адрес. Люсьена Мартинэ. Бют-Шомон, улица Клавеля.

Серое лицо девушки тонуло в подушках. Накануне вечером ее прооперировали. Равич тихонько прослушал сердце. Выпрямился.

– Лучше, – заметил он. – Переливание крови иногда творит чудеса. Если до завтра протянет, можно на что-то надеяться.

– Отлично, – пророкотал Вебер. – Мои поздравления. Вот уж не думал – дело-то совсем худо было. Пульс сто сорок, давление восемьдесят. Кофеин, корамин – еще бы немного, и того...

Равич пожал плечами:

– Не с чем поздравлять. Просто ее доставили чуть раньше, чем ту, прошлую. Ну, с цепочкой на ноге. Вот и все.

Он накрыл девушку.

– Уже второй случай за неделю. Если и дальше так пойдет, можете открывать отдельную клинику для неудачных аборт в Бют-Шомон. Другая ведь тоже оттуда была, верно?

Вебер кивнул:

– Да, и тоже с улицы Клавеля. Вероятно, они знакомы и были у одной и той же повитухи. Ее даже привезли примерно в то же время, что и предыдущую, тоже к вечеру. Счастье еще, что я вас в гостинице застал. Я-то уж думал, вас опять не будет дома.

Равич поднял на него глаза.

– Когда живешь в гостинице, Вебер, вечерами, как правило, куда-нибудь уходишь. А уж в ноябре гостиничный номер и подавно не самое веселое место на свете.

– Могу себе представить. Но почему, собственно, вы в отеле живете?

– Так удобнее: живешь вроде как анонимно. Один – и все же не совсем один.

– И вам это нравится?

– Да.

– Но можно ведь и иначе устроиться. Снять небольшую квартирку где-нибудь, где вас никто не знает...

– Наверно... – Равич склонился над девушкой.

– Верно я говорю, Эжени? – спросил Вебер.

Медсестра вскинула голову.

– Господин Равич не станет этого делать, – холодно заметила она.

– Господин доктор Равич, Эжени, – одернул ее Вебер. – В Германии господин доктор был главным хирургом крупного госпиталя. Не то что я.

– Здесь, у нас... – начала было медсестра, воинственно поправляя очки.

Взмахом руки Вебер оборвал ее на полуслове.

– Знаем, знаем! Нам и без вас это известно. Здесь, у нас, государство не признает зарубежных аттестаций. Что само по себе полнейший бред! Но почему вдруг вы решили, что он не станет снимать квартиру?

– Господин Равич пропащий человек; у него никогда не будет ни семьи, ни домашнего очага.

– Что? – опешил Вебер. – Что вы такое несете?

– Для господина Равича нет ничего святого. Вот и весь сказ.

– Bravo, – проронил Равич, все еще не отходя от больничной койки.

– Нет, вы такое слыхали? – Вебер все еще в изумлении пялился на свою медсестру.

– А вы лучше сами его спросите, доктор Вебер.

Равич распрямился.

– В самую точку, Эжени. Но когда для человека нет ничего святого, у него появляются другие святыни, свои, более человеческие. Он начинает боготворить искру жизни, что теплится даже в дождевом черве, время от времени заставляя того выползать на свет. Не считите за намек.

– Вам меня не оскорбить! У вас нет веры! – Эжени решительно одернула халат на груди. – А у меня, слава Богу, моя вера всегда со мной!

Равич уже брал пальто.

– Вера легко оборачивается фанатизмом. Недаром во имя всех религий пролито столько крови. – Он улыбался, не скрывая насмешки. – Терпимость – дитя сомнений, Эжени. Не потому ли вы при всей вашей вере относитесь ко мне куда агрессивней, чем я, отпетый безбожник, отношусь к вам?

Вебер расхохотался.

– Что, Эжени, получили? Лучше не отвечайте. А то вам совсем худо придется.

– Мое достоинство женщины...

– Вот и хорошо, – оборвал ее Вебер. – Оставьте его при себе. Всегда пригодится. А мне пора. В кабинете еще поработать надо. Пойдемте, Равич. Всего хорошего,

Эжени.

– Всего хорошего, доктор Вебер.

– Всего доброго, сестра Эжени, – попрощался Равич.

– Всего доброго, – через силу ответила медсестра, да и то лишь после того, как Вебер строго на нее глянул.

Кабинет Вебера был заставлен мебелью в стиле ампир – белой, с позолотой, на хлипких тоненьких ножках. Над письменным столом висели фотографии его дома и сада. У продольной стены стоял новомодный широкий шезлонг. Вебер в нем спал, когда оставался здесь на ночь. Как-никак клиника была его собственностью.

– Что будете пить, Равич? Коньяк или дубонне?

– Кофе, если у вас еще найдется.

– Конечно.

Вебер поставил на стол электрокофеварку и включил в сеть. Потом снова обернулся к Равичу.

– Вы не подмените меня сегодня в «Осирисе»? После обеда?

– Само собой.

– Вас это правда не затруднит?

– Нисколько. У меня все равно никаких дел.

– Отлично. А то мне специально ради этого еще раз в город тащиться. Лучше поработаю в саду. Я бы Фошона попросил, но он в отпуске.

– О чем разговор, – бросил Равич. – Не в первый раз.

– Конечно. И все-таки...

– Какие там «все-таки» в наше время? По крайней мере для меня.

– И не говорите. Полный идиотизм. Человек с вашим-то опытом – и лишен права работать, вынужден оперировать нелегально...

– Помилуйте, Вебер. Это же не вчера началось. Все врачи, кто из Германии бежал, в таком положении.

– И тем не менее! Это просто смешно! Вы делаете за Дюрана сложнейшие операции, а он вашими руками делает себе имя.

– Это куда лучше, чем если бы он оперировал своими руками...

Вебер рассмеялся:

– Конечно, не мне об этом говорить. Вы ведь и за меня оперируете. Но я, в конце концов, главным образом гинеколог и на хирурга не учился.

Кофеварка засвистела. Вебер ее выключил, достал из шкафа чашки и разлил кофе.

– Одного я все-таки не пойму, Равич, – продолжал он. – С какой стати, в самом деле, вы живете в этом клоповнике, в «Интернасьонале»? Почему бы вам не снять себе жилье, допустим, в этих новых домах у Булонского леса? Мебель по дешевке всегда можно купить. У вас появится хоть что-то свое, и вы будете знать, на каком вы свете.

– Да, – задумчиво повторил Равич. – Буду знать, на каком я свете...

– Ну так в чем же дело?

Равич отхлебнул кофе. Кофе был горький и очень крепкий.

– Вебер, – вздохнул он. – Вы наглядный пример характерной болезни нашего времени: привычки мыслить, обходя острые углы. Только что вы возмущались тем, что я вынужден работать нелегально, и тут же спрашиваете, почему я не снимаю квартиру.

– Что-то я не пойму, а какая связь?

Равич нервно рассмеялся:

– Как только я сниму квартиру, мне надо будет зарегистрироваться в полиции. Для чего мне потребуется паспорт и виза.

– Точно. Я как-то не подумал. Ну а в гостинице?

– И в гостинице тоже. Но в Париже, слава Богу, еще есть гостиницы, где не особо за этим следят. – Равич плеснул себе в кофе немного коньяку. – «Интернасьональ» – одна из таких гостиниц. Потому я там и живу. Уж не знаю, как хозяйка это устраивает. Должно быть, у нее свои связи. А полиция либо не в курсе, либо ее подмазывают. Как бы там ни было, я уже довольно долго там живу, и никто меня не трогает.

Вебер откинулся в кресле.

– Равич, – озадаченно проговорил он, – я этого не знал. Я-то думал, вам только работать запрещено. Но это же чертовски неприятное положение.

– По сравнению с немецким концлагерем это сущий рай.

– А полиция? Если она все-таки заявится?

– Если поймают – две недели тюрьмы и выдворение за границу. Обычно в Швейцарию. Если второй раз попадешься – полгода тюрьмы.

– Сколько?

– Полгода, – повторил Равич.

Вебер смотрел на него во все глаза.

– Но это же совершенно немыслимо. Это бесчеловечно.

– Я тоже так думал, пока на себе не испытал.

– То есть как? Вы хотите сказать, что с вами такое уже случилось?

– И не раз. Трижды, как и с сотнями других беженцев. Но это на первых порах, по неопытности, когда я еще свято верил в так называемую гуманность. Покуда не отправился в Испанию – туда, кстати, паспорт не требовался – и не получил второй урок практического гуманизма. От немецких и итальянских летчиков. Ну а после, когда снова сюда вернулся, я уже был стреляный воробей.

Вебер вскочил.

– Господи, – пробормотал он, что-то подсчитывая в уме. – Но тогда... тогда вы, выходит, больше года ни за что ни про что в тюрьме отсидели?

– Гораздо меньше. Всего два месяца.

– Как? Вы же сами сказали: в повторном случае полгода.

Равич улыбнулся:

– Когда опыт есть, повторного ареста можно избежать. Допустим, тебя выдворяют под одним именем, а возвращаешься ты под другим. Желательно через другой пограничный пункт. Тогда участь рецидивиста тебе уже не грозит. Поскольку никаких бумаг при нас все равно нету, доказать что-то можно, только если тебя узнают в лицо. Но такое случается редко. Равич – уже третья моя фамилия. Почти два года она служит мне верой и правдой. И пока все гладко. Похоже, везучая. С каждым днем она мне все больше нравится. А свою настоящую я уже почти забыл.

Вебер затряс головой.

– И это все за то, что вы не нацист.

– Конечно. У нацистов бумаги первый сорт. И визы на любой вкус.

– В хорошем же мире мы живем, нечего сказать. И правительство во всем этом участвует.

– У правительства несколько миллионов безработных, о которых оно обязано заботиться в первую очередь. И потом – вы думаете, только во Франции так? Всюду одно и то же. – Равич встал. – Всего хорошего, Вебер. Часа через два я еще раз взгляну на девчонку. И ночью зайду.

Вебер проводил его до двери.

– Послушайте, Равич, – сказал он. – Заглянули бы как-нибудь вечером к нам. На ужин.

– Обязательно. – Равич твердо знал, что не придет. – Как-нибудь на днях. До свидания, Вебер.

– До свидания, Равич. Нет, правда, приходите.

Равич отправился в ближайшее бистро. Сел у окна, чтобы смотреть на улицу. Он любил так вот посидеть, бездумно глаза на прохожих. Когда нечем заняться, лучше Парижа места нет.

Официант вытер столик и ждал.

– Перно, пожалуйста, – сказал Равич.

– С водой, сударь?

– Нет. Хотя погодите! – Равич на секунду задумался. – Не надо перно.

Что-то ему мешало, какой-то осадок в душе. Привкус горечи, надо срочно смыть. Сладковатая анисовка тут не годится.

– Кальвадос, – решил он наконец. – Двойной кальвадос.

– Хорошо, сударь.

Вебер его пригласил, вот в чем дело. Нотки сострадания в его голосе. Мол, дадим бедолаге возможность провести вечерок по-домашнему, в семейном кругу. Даже друзей французы редко приглашают к себе домой. Предпочитают встречаться в ресторанах. Он еще ни разу не был у Вебера в гостях. Хотя звал-то Вебер от чистого сердца, но тем горше пилюля. От оскорбления еще можно защититься, от сострадания никак.

Он глотнул яблочной водки. Чего ради он стал объяснять Веберу, почему живет в «Интернасьонале»? Какая была в этом нужда? Вебер знал ровно столько, сколько ему положено знать. Что Равич не имеет права оперировать. Этого вполне достаточно. А что Вебер вопреки запрету все же его использует – это уж его дело. Он на этом зарабатывает и имеет возможность братья за операции, на которые сам ни за что бы не решился. Никто об этом не знает, кроме самого Вебера и его медсестры, а та будет держать язык за зубами. И у Дюрана так же было. Только церемоний больше. Тот оставался возле пациента, пока наркоз не подействует. И лишь после этого впускали Равича, дабы произвести операцию, которая самому Дюрану давно не по плечу – слишком стар, да и бездарен. А когда пациент приходил в себя, Дюран снова был тут как тут, в гордом ореоле хирурга-чудотворца. Равич самого пациента вообще не видел, только белую простыню и густо намазанную йодом полоску тела, открытую для операции. Зачастую он не знал даже, кого оперирует. Дюран просто сообщал ему диагноз, и он брался за скальпель. И платил Дюран гроши – раз в десять меньше, чем брал за операцию сам. Но Равич и не думал роптать. Это все равно куда лучше, чем не оперировать вовсе. А Вебер обходится с ним считай что по-товарищески. Платит ровно четверть. Благородный человек.

Равич смотрел в окно. Ну а что кроме? А кроме не так уж много и остается. Он жив, разве этого мало? И вовсе не рвется строить нечто прочное во времена, когда все так шатко и вот-вот начнет рушиться вновь. Лучше уж сплавляться по течению, чем тратить понапрасну силы, ведь силы – это единственное, чего не вернешь. Главное – выстоять, покуда не покажется спасительный берег. Чем меньше растратишь сил, тем лучше, ибо силы еще понадобятся. А с упорством муравья возводить посреди рушащегося столетия гнездышко мещанского счастья, – сколько уж таких гнездышек разорено у него на глазах. Подобный героизм и трогателен, и смешон, но главное – бесполезен. Только попусту себя

выматывать. Лавину, если уж сорвалась, не остановишь, под ней только погибнуть можно. Лучше дождаться, пока сойдет, а потом откапывать и спасать кого можно. В дальний поход надо уходить с легким багажом. А уж спастись бегством и подавно...

Равич взглянул на часы. Пора провести Люсьену Мартинэ. А потом в «Осирис».

Девушки в «Осирисе» уже ждали. Их, правда, регулярно осматривал казенный врач, но хозяйка считала, что этого недостаточно. Чтобы в ее борделе кто-то подцепил дурную болезнь, – нет, такую роскошь она себе позволить не могла и поэтому заключила договор с частным гинекологом Вебером о дополнительном осмотре каждый четверг. Равич иногда Вебера подменял.

Одну из комнат на втором этаже хозяйка переоборудовала в настоящий смотровой кабинет. Она весьма гордилась тем, что в ее заведении вот уже больше года никто из посетителей ничего не подхватил; зато от самих клиентов, несмотря на все меры предосторожности, семнадцать девушек заразились.

Командующая парадом Роланда принесла ему бутылку бренди и стакан.

– По-моему, Марта не в порядке, – сообщила она.

– Хорошо. Осмотрим с пристрастием.

– Я уже вчера ее к работе не допустила. Она, конечно, отпирается. Но ее белье...

– Хорошо, Роланда.

Девушки в одних комбинезонах входили в кабинет по очереди. Почти всех Равич уже знал, новеньких было только две.

– Меня можно не смотреть, доктор, – с порога объявила Леони, рыжая гасконка.

– Это почему же?

– Ни одного клиента за неделю.

– А что хозяйка на это скажет?

– Да ничего. Я для нее на одном шампанском сколько заработала. По семь бутылок за вечер. Трое купчишек из Тулузы. Женатики все. И каждый хочет, но перед другими стесняется. Каждый боится, что если со мной пойдет, остальные двое дома его заложат. Ну и давай напиваться, каждый надеялся других двоих перепить. – Леони хохотнула, лениво почесываясь. – Ну а тот, кто всех перепил, и сам потом подняться не мог.

– Отлично. И все равно я обязан тебя осмотреть.

– Да за милую душу, доктор. Сигаретки не найдется?

– Держи.

Равич взял мазок, проверил на реактив.

– Знаете, чего я никак не пойму? – спросила Леони, не спуская с Равича глаз.

– Чего?

– Как это у вас после таких дел все еще не пропала охота спать с женщинами?

– Я и сам не пойму. Так, ты в порядке. Кто там следующий?

– Марта.

Вошла Марта – бледная, худенькая блондинка. Личико с полотен Боттичелли и ангельские уста, всегда готовые усладить ваш слух отборным матом из подворотен улицы Блонделя.

– Со мной все хорошо, доктор.

– Вот и прекрасно. Сейчас посмотрим.

– Но со мной правда все хорошо.

– Тем лучше.

Тут в комнату вошла Роланда. Глянула на Марту. Та сразу замолкла. Только тревожно поглядывала на Равича. Тот обследовал ее с особой тщательностью.

– Да чистенькая я, доктор. Вы же знаете, я всегда остерегаюсь.

Равич не отвечал. Девушка продолжала болтать, время от времени испуганно замолкая. Равич взял мазок и теперь его рассматривал.

– Ты больна, Марта, – изрек он наконец.

– Что? – Девушка вскочила как ужаленная. – Быть не может!

– Еще как может.

С секунду она смотрела на него молча. И тут ее прорвало:

– Ну, сучий потрох! Кобель паскудный! Я сразу ему не поверила, хмырю болотному! А он заладил: я же студент, медик, уж я-то разбираюсь, ничего не будет, вот козел!

– Ты сама-то почему не береглась?

– Да береглась я, только уж больно наскоро все случилось, а он говорит, мол, я студент...

Равич кивнул. Старая песня: студент-медик, подцепил триппер, решил лечиться сам. Через две недели посчитал себя здоровым, анализы сдавать не стал.

– Это надолго, доктор?

– Месяца полтора. – Равич прекрасно знал: на самом деле дольше.

– Полтора месяца?! – Полтора месяца без заработка. А если еще и в больницу? – Мне что, в больницу теперь?

– Там видно будет. Может, потом будем на дому тебя лечить. Только если ты обещаешь...

– Обещаю! Все, что угодно, обещаю! Только не в больницу.

– Сначала обязательно в больницу. Иначе нельзя.

Марта смотрела на него с отчаянием. Больницы все проститутки боялись как огня. Порядки там очень строгие. Но другого выхода нет. Оставь такую лечиться дома, и уже через день-другой, невзирая на все клятвы, она выйдет на заработки и начнет разносить заразу...

– Мадам заплатит за больницу, – сказал Равич.

– А сама я? Сама? Полтора месяца без заработка! А я только что воротник из чернобурки купила в рассрочку! Пропущу платеж, и всему хана!

Она заплакала.

– Пойдем, Марта, – сказала Роланда.

– И обратно вы меня не возьмете! Я знаю! – Марта всхлипывала все громче. – Вы меня не возьмете потом! Никогда никого не берете! Значит, мне одна дорога – на улицу... И все из-за кобеля этого шелудивого...

– Тебя возьмем. На тебя был хороший спрос. Клиентам ты нравилась.

– Правда? – Марта недоверчиво подняла глаза.

– Конечно. А теперь пошли.

Марта вышла вместе с Роландой. Равич смотрел ей вслед. Черта с два ее обратно возьмут. Мадам в таких делах рисковать не любит. Так что в лучшем случае

Марту ждут теперь дешевые притоны на улице Блонделя. Потом просто улица. Потом кокаин, больница, место продавщицы в табачном или цветочном киоске. Или, если повезет, какой-нибудь сутенер, который будет ее поколачивать, вволю попользуется, а уж потом вышвырнет.

Столовая гостиницы «Интернасьональ» располагалась в полуподвале. Поэтому постояльцы без обиняков называли ее «катакомбой». Летом, правда, скудные лучи света еще как-то пробивались сюда сквозь толстые матовые стекла под потолком – эти окна-щели выходили во двор; зимой же электричество не выключали даже днем. Помещение служило одновременно курительной, канцелярией, гостиной, залом собраний, а также убежищем для беспаспортных эмигрантов – когда являлась с проверкой полиция, они могли отсюда дворовым пробраться в гараж, а уж из гаража смыться на соседнюю улицу.

Равич сидел сейчас с Борисом Морозовым, швейцаром ночного клуба «Шехерезада», в том углу «катакомбы», который хозяйка гордо именovala пальмовым садом, ибо здесь в майоликовой кадке на рахитичном столике доживала свой худосочный век одна чахлая пальма. Морозов вот уже пятнадцать лет жил в Париже. Беженец еще со времен Первой мировой, он был одним из немногих русских, кто не бахвалился службой в царской гвардии и не рассказывал небылицы о своем знатном происхождении.

Они играли в шахматы. В «катакомбе» в этот час было пусто, за исключением одного столика, за которым собралась шумная компания, там много пили и то и дело провозглашали тосты.

Морозов раздраженно оглянулся.

– Равич, ты можешь мне объяснить, по какому случаю здесь сегодня такой галдеж? Какого черта эти эмигранты не отправляются спать?

Равич усмехнулся:

– К этим эмигрантам я лично отношения не имею. В нашей гостинице это фашистская фракция.

– Испания? Но ты ведь тоже там был?

– Был, но на другой стороне. К тому же только как врач. А это испанские монархисты фашистского розлива. Жалкие остатки здешней камарильи, большинство-то уже снова восвояси вернулись. А эти все никак не отважатся. Франко, видите ли, для них недостаточно утончен. Хотя мавры, веками истреблявшие испанцев, – мавры несколько их не смущали[6 - Имеются в виду так называемые африканские армии генерала Франко, сформированные в значительной мере из жителей Северной Африки арабского происхождения.].

Морозов уже расставлял фигуры.

– Так, может, они отмечают бойню в Гернике[7 - В ходе гражданской войны 26 апреля 1937 года город Герника, древний центр баскской культуры, находившийся в руках республиканцев, был подвергнут многочасовой варварской бомбардировке германской авиацией. Итальянские и немецкие боевые соединения принимали участие в боевых действиях на стороне франкистов.]? Или победу итальянских и немецких пулеметов над крестьянами и горняками? Я этих молодчиков ни разу здесь не видел.

– Они уж который год здесь околачиваются. Ты их не видел, потому что не столуешься здесь.

– А ты, что ли, столуешься?

– Нет.

– Ладно, – ухмыльнулся Морозов. – Замнем для ясности мой следующий вопрос, равно как и твой ответ. И то и другое наверняка было бы оскорбительно. По мне, так пусть бы хоть родились здесь. Лишь бы горланили потише. Итак – старый, добрый ферзевый гамбит.

Равич двинул встречную пешку. Первые ходы делались быстро. Но вскоре Морозов начал подолгу задумываться.

– Есть тут один вариант у Алехина...

Один из испанцев между тем направился в их сторону. То ли взгляд тупой, то ли глаза совсем близко к носу посажены. Остановился возле их столика. Морозов недовольно поднял голову. На ногах испанец держался не слишком твердо.

– Господа, – выговорил он учтиво. – Полковник Гомес приглашает вас выпить с ним бокал вина.

– Сударь, – в тон ему ответил Морозов, – мы как раз разыгрываем партию в шахматы на первенство семнадцатого округа города Парижа. Покорнейше благодарим, но принять приглашение никак не можем.

Испанец и бровью не повел. Он обратился к Равичу с церемонностью, которая сделала бы честь и двору Филиппа Второго:

– Некоторое время назад вы оказали полковнику Гомесу любезность. Вот почему накануне своего отъезда он весьма желал бы выпить с вами бокал вина.

– Мой партнер, – ответил Равич с той же церемонностью, – уже объяснил вам: мы сегодня должны сыграть партию в шахматы. Поблагодарите от нас полковника Гомеса. Весьма сожалею.

Испанец с поклоном удалился. Морозов ухмыльнулся:

– Совсем как мы, русские, в первые годы. Как утопающий за соломинку, из последних сил цеплялись за свои титулы и учтивые манеры. И какую же любезность ты оказал этому готтентоту?

– Как-то раз слабительное прописал. Латинские народы весьма щепетильны в вопросах пищеварения.

– Недурственно! – Морозов снова ухмыльнулся. – Извечная слабина демократии. Фашист в подобном случае прописал бы демократу мышьяк.

Испанец уже подходил к ним снова.

– Позвольте представиться: старший лейтенант Наварро, – объявил он с убийственной серьезностью человека, который явно выпил лишнего, но пока

этого не осознает. – Я адъютант полковника Гомеса. Сегодня ночью полковник уезжает из Парижа. Он направляется в Испанию, дабы присоединиться к доблестным войскам генералиссимуса Франко. И в честь этого события желает выпить с вами бокал вина за свободу Испании и ее победоносную армию.

– Старший лейтенант Наварро, – сухо отозвался Равич, – я не испанец.

– Нам это известно. Вы немец. – Тень заговорщицкой улыбки промелькнула на его пьяном лице. – Именно поэтому полковник Гомес и желает с вами выпить. Германия и Испания – друзья.

Равич и Морозов переглянулись. Это становилось забавным. Уголки губ у Морозова подрагивали.

– Старший лейтенант Наварро, – сказал он. – Как ни жаль, но я вынужден настаивать на необходимости завершения нашей партии с доктором Равичем. Результат сегодня же ночью будет телеграфирован в Нью-Йорк и Калькутту.

– Сударь! – надменно произнес Наварро. – Мы ожидали, что вы откажетесь, ведь Россия – враг Испании. Приглашение касалось только доктора Равича. Вас мы пригласили только потому, что вы вместе.

Морозов поставил на свою огромную, как лопата, ладонь выигранного коня и посмотрел на Равича.

– Пора прекратить этот балаган, тебе не кажется?

– Думаю, да. – Равич повернулся. – Полагаю, молодой человек, вам лучше вернуться на место. Вы совершенно незаслуженно пытаетесь задеть честь полковника Морозова, ибо он враг Советов.

Не дожидаясь ответа, Равич снова склонился над доской. Наварро какое-то время стоял над ними, недоуменно таращась. Потом удалился.

– Он пьян и, как многие латиняне, в пьяном виде напрочь лишен чувства юмора, – заметил Равич. – Однако мы отнюдь не обязаны следовать его примеру. Вот почему я решил произвести тебя в полковники. Хотя, сколько мне известно,

ты всего лишь жалкий подполковник. Мысль, что этот Гомес старше тебя по званию, показалась мне нестерпимой.

– Помолчи немного, дружок. Со всей этой суетней я, кажется, напортачил в алахинском варианте. Похоже, слона я теряю. – Морозов поднял голову. – Бог ты мой, еще один пожаловал. Второй адъютант. Ну и народ!

– Не иначе это полковник Гомес собственной персоной. – Равич с интересом откинулся в кресле. – Нас ждет дискуссия двух полковников.

– Недолгая, сын мой.

Полковник оказался еще церемоннее лейтенанта. Он начал с того, что извинился перед Морозовым за промашку своего адъютанта. Извинение было милостиво принято. После чего, поскольку все недоразумения вроде бы благополучно улажены, полковник, усугубляя учтивость почти до неправдоподобия, предложил в знак примирения всем вместе выпить бокал вина за генералиссимуса Франко. На сей раз отказался Равич.

– Но как немец, как союзник... – Полковник явно был в замешательстве.

– Полковник Гомес, – сказал Равич, постепенно теряя терпение, – оставим лучше все как есть. Вы будете пить за кого вам вздумается, а я продолжу играть в шахматы.

На лице полковника отразилась мучительная работа мысли.

– Тогда, выходит, вы...

– Лучше не будем уточнять, – остановил его Морозов. – Во избежание дальнейших разногласий.

Гомес вконец запутался.

– Но тогда вы, белогвардеец и царский офицер, должны бы...

– Ничего мы никому не должны. Мы скроены по старинке. Да, мы разных взглядов, но не считаем, что из-за этого надо сносить друг другу башку.

До Гомеса наконец дошло. Он надменно вскинул голову.

– Понятно! – злобно прокаркал он. – Гнилая демократическая...

– Вот что, любезный! – Голос Морозова не сулил ничего хорошего. – Уматывайте отсюда! Вам давным-давно пора было уматывать. К себе в Испанию. В окопы. А то там за вас итальянцы да немцы воют. Свободны!

Он встал. Гомес отшатнулся. Посмотрел на Морозова. Потом, как по команде, резко повернулся кругом и зашагал к своему столику. Морозов сел на место, вздохнул и позвонил официантке.

– Принесите-ка нам кальвадоса, Кларисса. Два двойных.

Кивнув, Кларисса ушла.

– Тоже мне вояки. – Равич усмехнулся. – Такой короткий ум и такие сложные представления о чести. Этак и свихнуться недолго, а уж спьяну и подавно.

– Оно и видно. Вон уже следующий идет. Еще немного – и они начнут ходить процессиями. Кто пожалует на сей раз? Может, сам Франко?

Это снова был Наварро. Опасливо остановившись от столика в двух шагах, он на сей раз обратился к Морозову:

– Полковник Гомес сожалеет, что не имеет возможности послать вам вызов. Сегодня ночью он покидает Париж. К тому же его миссия слишком ответственна, и он не может позволить себе неприятности с полицией. – Он повернулся к Равичу. – Полковник должен вам гонорар за консультацию. – С этими словами он бросил на стол сложенную пятифранковую купюру и попытался гордо удалиться.

– Секундочку, – проговорил Морозов. Кларисса как раз подошла к их столику с подносом. Морозов взял рюмку кальвадоса, но, глянув на нее, покачал головой и поставил на место. После чего взял с подноса стакан воды и невозмутимо

выплеснул Наварро в лицо. – Это чтобы вы протрезвели, – невозмутимо пояснил он. – И зарубите себе на носу: деньгами не швыряются. А теперь катитесь отсюда, идиот ламанческий...

Наварро ошеломленно утирался. К их столику уже спешили остальные испанцы. Их было четверо. Морозов не спеша поднялся во весь рост. Он был на голову, а то на две выше каждого из испанцев. Равич продолжал сидеть. Он посмотрел на Гомеса.

– Не смешите людей, – посоветовал он. – Вы все, мягко говоря, не трезвы. У вас ни малейшего шанса. Минуты не пройдет, и вы костей не соберете. Даже на трезвую голову у вас все равно шансов никаких.

Он встал, подхватил Наварро под локти, приподнял, повернул и, как болванчика, поставил настолько вплотную к Гомесу, что тому пришлось отступить.

– А теперь оставьте нас в покое. Мы вас не звали, не просили к нам приставать. – Он взял со стола пятифранковую купюру и положил на поднос. – Это вам, Кларисса. Господа хотят вас отблагодарить.

– Первый раз хоть что-то на чай от них получаю, – буркнула официантка. – Ну, спасибо.

Гомес что-то скомандовал по-испански. Все пятеро дружно повернулись кругом и отошли к своему столику.

– Жаль, – вздохнул Морозов. – Этих голубчиков я бы с радостью отделал. А нельзя – и все из-за тебя, бродяги беспаспортного. Ты хоть сам-то жалеешь, что не смог отвести душу?

– Не на этих же. Мне с другими по квитаться надо.

Из-за испанского столика до них доносились обрывки гортанной чужеземной речи. Затем прозвучало троекратное «Viva!»[8 - «Да здравствует!» (исп.)], звякнули дружно поставленные на стол бокалы, и вся компания чуть ли не строем очистила помещение.

– Такую выпивку и чуть было в эту рожу не выплеснул, – покачал головой Морозов. – Надо же, и вот этакая шваль правит сейчас в Европе. Неужели и мы такими же идиотами были?

– Да, – отозвался Равич.

Еще примерно час они играли молча. Вдруг Морозов вскинул голову.

– Вон Шарль идет, – сообщил он. – Похоже, к тебе.

Равич поднял глаза. Паренек из швейцарской уже подходил к их столику. В руках у него был небольшой сверток.

– Просили вам передать.

– Мне?

Равич осмотрел сверток. Сверток небольшой, в белой шелковистой бумаге, перевязан бечевкой. Адреса на свертке не было.

– Я ни от кого ничего не жду. Это какое-то недоразумение. Кто передал?

– Женщина... ну, то есть дама, – поправился паренек.

– Так женщина или дама? – уточнил Морозов.

– Да вроде как посередке...

– А что, метко, – ухмыльнулся Морозов.

– Тут даже не написано, от кого. Она точно сказала, что это мне?

– Ну, не то чтобы прямо. Не по имени. Для доктора, говорит, который у вас живет. А потом... вы эту даму знаете.

– Это она так сказала?

– Да нет. Но это с ней вы недавно приходили ночью, – выпалил парень.

– Да, Шарль, со мной иногда приходят дамы. Но пора бы тебе знать: тактичность и скромность – первые добродетели служащего гостиницы. Нескромность – это только для кавалеров большого света.

– Да вскрой же ты его наконец! – не утерпел Морозов. – Даже если это не тебе. В нашей многогрешной жизни и не такое случалось вытворять.

Равич усмехнулся и развязал бечевку. В свертке прощупывался какой-то предмет. Оказалось, это деревянная фигурка мадонны, которую он оставил в комнате той женщины, как же ее звали... Мадлен... Мад... Он напряг память... Нет, забыл. Что-то похожее. Он разворошил шелковистую бумагу. Ни письма, ни записки.

– Хорошо, – сказал он пареньку. – Все правильно.

И поставил статуэтку на стол. Среди шахматных фигур она смотрелась странно и как-то неприкаянно.

– Она русская? – спросил Морозов.

– Нет. Хотя мне сначала тоже так показалось.

Равич заметил, что губную помаду с лица мадонны отмыли.

– Что прикажешь мне с этим делать?

– Поставь куда-нибудь. На свете множество вещей, которые можно куда-то приткнуть. И для всех находится место. Только не для людей.

– Того человека, наверно, уже похоронили.

– Это та?

– Ну да.

– Но ты хоть заходил к ней еще раз, проведать, как она и что?

– Нет.

– Странно, – задумчиво проговорил Морозов. – Сперва мы думаем, будто помогаем кому-то, а когда человеку тяжелее всего, перестаем помогать.

– Борис, я не армия спасения. Я видывал в жизни случаи куда хуже этого и даже пальцем не пошевелинул. И почему, кстати, ей должно быть сейчас тяжелей?

– Потому что теперь она оказалась по-настоящему одна. В первые дни тот мужчина хоть как-то, но все еще был с ней рядом, пусть даже мертвый. Но он был здесь, на земле. А теперь он под землей, все, его нет. И это вот, – Морозов указал на фигурку, – никакая не благодарность. Это крик о помощи.

– Я переспал с ней, – признался Равич. – Еще не зная, что у нее стряслось. И хочу про это забыть.

– Чепуха! Тоже мне, велика важность! Если это не любовь, то это вообще распоследний пустяк на свете. Я знал одну женщину, так она говорила, ей легче с мужиком переспать, чем назвать его по имени. – Морозов склонил голову. Его лобастый лысый череп под лампой слегка отсвечивал. – Я так тебе скажу, Равич: нам надо быть добрее – поелику возможно и доколе возможно, потому что в жизни нам еще предстоит совершить сколько-то так называемых преступлений. По крайней мере мне. Да и тебе, наверно.

– Тоже верно.

Морозов облокотился на кадку с чахлой пальмой. Та испуганно покачнулась.

– Жить – это значит жить другими. Все мы потихоньку едим друг друга поедом. Поэтому всякий проблеск доброты, хоть изредка, хоть крохотный, – он никому не повредит. Он сил придает – как бы тяжело тебе ни жилось.

– Хорошо. Завтра зайду, посмотрю, как она.

– Вот и прекрасно, – рассудил Морозов. – Это я и имел в виду. А теперь побоку все разговоры. Белыми кто играет?

5

Хозяин гостиницы сразу же Равича узнал.

– Дама у себя в комнате, – сообщил он.

– Можете ей позвонить и сказать, что я пришел?

– Комната без телефона. Да вы сами можете к ней подняться.

– В каком она номере?

– Двадцать седьмой.

– У меня отвратительная память на имена. Не подскажете, как ее зовут?

Хозяин и бровью не повел.

– Маду. Жоан Маду, – сообщил он. – Не думаю, что это настоящее имя. Скорей всего артистический псевдоним.

– Почему артистический?

– Она и в карточке у нас записалась актрисой. Уж больно звучно, верно?

– Да как сказать. Знавал я одного артиста, так тот выступал под именем Густав Шмидт. А по-настоящему его звали граф Александр Мария фон Цамбона. Густав Шмидт был его артистический псевдоним. Не больно звучно, верно?

Хозяин, однако, не стушевался.

– В наши дни чего только не бывает, – философски заметил он.

– Не так уж много всего и бывает в наши дни. Загляните в учебники истории, и вы легко убедитесь, что нам достались еще относительно спокойные времена.

– Благодарю покорно, мне и этих времен за глаза хватает.

– Мне тоже. Но чем-то же надо себя утешить. Так вы сказали, двадцать седьмой?

– Так точно, месье.

Равич постучал. Никто не ответил. Он постучал снова и на сей раз едва расслышал что-то невнятное. Отворив дверь, он сразу увидел женщину. Та сидела на кровати, что нелепо громоздилась поперек комнаты у торцевой стены, и когда он вошел, медленно подняла глаза. Здесь, в гостиничном номере, странно было видеть на ней все тот же синий костюм, в котором Равич встретил ее в первый вечер. Застань он ее распустихой, валяющейся в замызганном домашнем халате, – и то вид был бы не такой неприкаянный. Но в этом костюме, одетая невеста для чего и кого, просто по привычке, утратившей для нее всякий смысл, она выглядела столь безутешно, что у Равича от жалости дрогнуло сердце. Ему ли не знать этой тоски – он-то сотни людей перевидал вот в такой же безнадежной позе, несчастных эмигрантов, заброшенных жизнью на чужбину из чужбин. Крохотный островок среди безбрежности бытия – они сидели вот так же и так же не знали, как быть и что делать, и лишь сила привычки еще как-то удерживала их на плаву.

Он прикрыл за собой дверь.

– Надеюсь, не помешал? – спросил он и тут же ощутил всю бессмысленность своего вопроса. Кто и что может ей сейчас помешать? Мешать-то уже считай что некому.

Он положил шляпу на стул.

– Удалось все уладить? – спросил он.

– Да. Не так уж и много было хлопот.

– И все без осложнений?

– Вроде да.

Равич сел в единственное имевшееся в номере кресло. Пружины заскрипели, и он почувствовал, что одна из них сломана.

– Вы куда-то уходите? – спросил он.

– Да. Когда-нибудь. Позже. Никуда особенно, так. Что еще остается?

– Да ничего. Это правильно на первых порах. У вас нет знакомых в Париже?

– Нет.

– Никого?

Женщина тяжело подняла голову.

– Никого. Кроме вас, хозяина, официанта и горничной. – Она мучительно улыбнулась. – Не много, правда?

– Не очень. А что, разве у... – Он пытался припомнить фамилию умершего, но не смог. Забыл.

– Нет, – угадала его вопрос женщина. – У Рашинского не было знакомых в Париже. Или я их не видела. Мы только приехали, и он сразу заболел.

Равич не собирался долго засиживаться. Но сейчас, увидев ее вот такой, он передумал.

– Вы уже ужинали?

– Нет. Да мне и не хочется.

– А вообще сегодня что-нибудь ели?

– Да. Обедала. Днем это как-то проще. Но вечером...

Равич огляделся. Небольшая комната казалась голой, от гостиничных стен веяло ноябрем и безнадегой.

– Самое время вам отсюда выбраться, – сказал он. – Пойдемте. Сходим куда-нибудь поужинать.

Он ожидал, что женщина станет возражать. Столько унылого безразличия было во всем ее облике, что казалось, ей эту хандру уже нипочем с себя не стряхнуть. Однако она тотчас же встала и потянулась за плащом.

– Это не подойдет, – сказал он. – Слишком легкий. Потеплее ничего нет? На улице холодно.

– Так ведь дождь был...

– Он и сейчас не кончился. Но все равно холодно. Другого у вас ничего нет? Пальто потеплее или, на худой конец, свитера?

– Да, свитер есть.

Она подошла к чемодану, что побольше. Только тут Равич заметил, что она так почти ничего и не распаковала. Сейчас она извлекла из чемодана черный свитер, сняла жакет, свитер надела. У нее оказались неожиданно ладные, стройные плечи. Прихватив берет, она надела жакет и плащ.

– Так лучше?

– Гораздо лучше.

Они спустились вниз. Хозяина на месте не было. Вместо него за стойкой под доской с ключами сидел консьерж. Он разбирал письма и вонял чесноком. Рядом сидела пятнистая кошка и не сводила с него зеленых глаз.

– Ну что, по-прежнему есть не хочется? – спросил Равич, когда они вышли на улицу.

– Не знаю. Разве что немного...

Равич уже подзывал такси.

– Хорошо. Тогда поедem в «Прекрасную Аврору». Там можно перекусить по-быстрому...

Народу в «Прекрасной Авроре» оказалось немного. Было уже довольно поздно. Они отыскиали столик в верхнем зале, узком, с низким потолком. Кроме них, тут была еще только одна пара, устроившаяся у окна полакомиться сыром, да одинокий мужчина, перед которым громоздилась целая гора устриц. Подошел официант, окинул придирчивым взглядом клетчатую скатерть и решил все-таки ее сменить.

– Две водки, – заказал Равич. – Холодной. Мы здесь выпьем и попробуем разных закусок, – объяснил он своей спутнице. – По-моему, это как раз то, что вам сейчас нужно. «Прекрасная Аврора» специализируется на закусках. Кроме закусок, тут почти ничего и не поешь. Во всяком случае, дальше закусок тут обычно мало кто способен продвинуться. Их тут уйма, на любой вкус, что холодные, что горячие, и все очень хороши. Так что давайте пробовать.

Официант принес водку и достал блокнотик записывать.

– Графин розового, – сказал Равич. – Анжуйское есть?

– Анжуйское разливное, розовое, так точно, сударь.

– Хорошо. Большой графин, на льду. И закуски.

Официант удалился. В дверях он едва не столкнулся с женщиной в красной шляпке с пером, – та стремительно взбегала по лестнице. Отодвинув официанта в сторону, она направилась напрямик к мужчине с устрицами.

– Альберт! – начала она. – Ну ты же и свинья...

– Тсс! – зашикал на нее Альберт, испуганно озираясь.

– Никаких «тсс»! – С этими словами женщина шмякнула мокрый зонт поперек стола и решительно уселась напротив. Альберт, похоже, был не слишком удивлен.

– Che?rie![9 - Дорогая! (фр.)] – начал он и продолжил уже шепотом.

Равич улыбнулся, поднимая бокал.

– Для начала выпьем-ка это до дна. Salute[10 - Будем здоровы (ит.).].

– Salute, – ответила Жоан Маду и выпила свой бокал.

Закуски здесь развозили на специальных столиках-тележках.

– Что желаете? – Равич взглянул на женщину. – Думаю, будет проще, если для начала я сам вам что-нибудь подберу. – Он наполнил тарелку и передал ей. – Если что-то не понравится, ничего страшного. Сейчас еще другие тележки подвезут. И это только начало.

Набрав и себе полную тарелку, он принялся за еду, стараясь не смущать женщину чрезмерной заботливостью. Но вдруг, даже не глядя, почувствовал: она тоже ест. Он очистил лангустину и протянул ей.

– Попробуйте-ка! Это нежнее лангустов. А теперь немного здешнего фирменного паштета. С белым хлебом, вот с этой хрустящей корочкой. Что ж, совсем неплохо. И к этому глоток вина. Легкого, терпкого, холодненького...

– Вам со мной столько хлопот, – проговорила женщина.

– Ну да, в роли официанта. – Равич рассмеялся.

– Нет. Но вам со мной правда столько хлопот.

– Не люблю есть один. Вот и все. Как и вы.

– Из меня напарник неважный.

– Отчего же? – возразил Равич. – По части еды – вполне. По части еды вы напарник превосходный. Терпеть не могу болтунов. А уж горлопанов и подавно.

Он глянул на Альберта. Пристукивая в такт по столу зонтиком, красная шляпка более чем внятно объясняла бедняге, почему он такая скотина. Альберт выслушивал ее терпеливо и, похоже, без особых переживаний.

Жоан Маду мельком улыбнулась:

– Я так не могу.

– А вон и очередная тележка с провизией. Навалимся сразу или сперва по сигаретке?

– Лучше сперва по сигаретке.

– Отлично. У меня сегодня даже не солдатские, не с черным табаком.

Он поднес ей огня. Откинувшись на спинку стула, Жоан глубоко затянулась. Потом посмотрела Равичу прямо в глаза.

– До чего же хорошо вот так посидеть, – проговорила она, и на секунду ему показалось, что она вот-вот разрыдается.

Кофе они пили в «Колизее». Огромный зал на Елисейских полях был переполнен, но им посчастливилось отыскать свободный столик в баре внизу, где верхняя половина стен была из стекла, за которым сидели на жердочках попугаи и летали взад-вперед другие пестрые тропические птицы.

– Вы уже подумали, чем будете заниматься? – спросил Равич.

– Пока что нет.

– А когда в Париж направлялись, что-то определенное имели в виду?

Женщина помедлила.

– Да вроде нет, ничего конкретного.

– Я не из любопытства спрашиваю.

– Я знаю. Вы считаете, мне чем-то надо заняться. И я так считаю. Каждый день себе это говорю. Но потом...

– Хозяин сказал мне, что вы актриса. Хотя я не об этом его спрашивал. Он сам мне сказал, когда я спросил, как вас зовут.

– А вы забыли?

Равич поднял на нее глаза. Но она смотрела на него спокойно.

– Забыл. Записку дома оставил, а припомнить не мог.

– А сейчас помните?

– Да. Жоан Маду.

– Я не ахти какая актриса, – призналась женщина. – Все больше на маленьких ролях. А в последнее время вообще ничего. Я не настолько знаю французский...

– А какой вы знаете?

– Итальянский. Я там выросла. И немного английский и румынский. Отец у меня был румын. Умер. А мама англичанка. Она в Италии живет, но я не знаю где.

Равич слушал ее вполуха. Он скучал, да и не знал толком, о чем с ней говорить.

– А еще чем-нибудь занимались? – спросил он, лишь бы не молчать. – Кроме маленьких ролей?

– Да ерундой всякой в том же духе. Где споешь по случаю, где станцуешь...

Он с сомнением на нее глянул. Вид не тот. Какая-то блеклость, затертость какая-то, да и не красавица вовсе. Даже на актрису не похожа. Хотя само слово «актриса» – понятие весьма растяжимое.

– Чем-то в том же духе вы могли бы попробовать заняться и здесь, – заметил он. – Чтобы петь и танцевать, французский особенно не требуется.

– Да. Но сперва надо найти что-то. Если не знаешь никого, это трудно.

«Морозов! – осенило вдруг Равича. – «Шехерезада». Ну конечно!» Морозов должен разбираться в таких вещах. Морозов спроворил ему нынешний тоскливый вечер – вот Равич ему эту артистку и сбегрит, пусть Борис покажет, на что способен.

– А русский знаете? – спросил он.

– Чуть-чуть. Две-три песни. Цыганские. Они на румынские похожи. А что?

– У меня есть знакомый, он кое-что смыслит в таких делах. Вероятно, он сумеет вам помочь. Я дам вам его адрес.

– Боюсь, это без толку. Антрепренеры – они везде одинаковые. Рекомендации тут мало помогают.

«Видно, решила, что я отделаться от нее хочу», – подумал Равич. Это и вправду было так, но соглашаться не хотелось.

– Этот человек не антрепренер. Он швейцар в «Шехерезаде». Это русский ночной клуб на Монмартре.

– Швейцар? – Жоан Маду вскинула голову. – Это совсем другое дело. Швейцар гораздо полезнее, чем антрепренер. Вы хорошо его знаете?

Равич смотрел на нее с изумлением. Вон как по-деловому заговорила. Шустрая, однако, подумал он.

– Он мой друг. Его зовут Борис Морозов, – сообщил он. – Он уже десять лет в «Шехерезаде» работает. Там у них каждый вечер богатая артистическая программа. И номера часто меняют. С метрдотелем Морозов на дружеской ноге. И даже если в «Шехерезаде» ничего для вас не найдется, Морозов наверняка еще где-нибудь что-то подыщет. Ну что, рискнете?

– Конечно. А когда?

– Лучше всего вечером, часов в девять. Дел у него в это время еще немного, и он сможет уделить вам время. Я с ним договарюсь.

Равич уже заранее радовался, представляя себе физиономию Морозова. У него даже настроение как-то сразу поднялось. И от души отлегло – как мог, он принял участие в судьбе этой женщины, и теперь совесть его чиста. Дальше уж пусть сама выбирается.

– Вы устали? – спросил он.

Жоан Маду посмотрела ему прямо в глаза.

– Я не устала, – ответила она. – Но я знаю: для вас не бог весть какое удовольствие со мной тут сидеть. Вы проявили ко мне сочувствие, и я вам очень за это благодарна. Вы вытащили меня из номера, вы со мной поговорили. Для меня это очень много значит, ведь я за эти дни почти ни с кем и словом не перемолвилась. А теперь я пойду. Вы сделали для меня больше, чем могли. Столько времени потратили. Без вас – что бы со мной было...

Господи, подумал Равич, опять она за свое. От неловкости он поднял глаза на стеклянную стену под потолком. Там в это время голубь как раз пытался изнасиловать самку какаду. Попугаихе его ухищрения были до того безразличны, что она даже не пыталась сбросить наглеца. Просто клевала корм, не обращая на голубя никакого внимания.

– Это не сочувствие, – проронил Равич.

– Тогда что?

Голубь наконец сдался. Он соскочил с широкой спины попугаихи и принялся чистить перышки. А та равнодушно повела хвостом и пульнула вниз струей помета.

– Давайте-ка выпьем доброго старого арманьяка, – предложил Равич. – Это и будет самый правильный ответ. Поверьте, не такой уж я альтруист. И вечерами частенько бываю один. Вы полагаете, это увлекательно?

– Нет. Но я не самая удачная компания, а это еще хуже.

– Я давно уже отучился искать себе компанию. А вот и ваш арманьяк. Будем!

– Будем!

Равич поставил свою рюмку.

– Так, а теперь пора нам из этого птичника слинять. Вам ведь еще не хочется обратно в гостиницу?

Жоан Маду покачала головой.

– Хорошо. Тогда двинемся дальше. А именно в «Шехерезаду». Выпьем там еще. По-моему, нам обоим это не повредит, а вы вдобавок сможете взглянуть, что там к чему.

Было уже три часа ночи. Они стояли перед подъездом гостиницы «Милан».

– Ну как, хорошо выпили? – спросил Равич.

Жоан Маду ответила не сразу.

– Там, в «Шехерезаде», мне казалось, вполне достаточно. Но теперь, как увидела эту дверь, понимаю, что мало.

– Ну, это дело поправимое. Глядишь, в гостинице что-нибудь найдется. А если нет, вон кабачок напротив, возьмем бутылку там. Пойдемте.

Она посмотрела на него. Потом на дверь.

– Ладно, – решила она. Но тут же запнулась. – Туда... В пустую комнату...

– Я вас провожу. Бутылку прихватим с собой.

Портье проснулся.

– У вас выпить что-нибудь есть? – поинтересовался Равич.

– Коктейль с шампанским? – мгновенно сбрасывая с себя сон, деловито осведомился портье.

– Благодарю. Лучше чего-нибудь покрепче. Коньяк. Бутылку.

– Курвуазье? Мартель? «Хеннеси»? Бисквит Дюбуше?

– Курвуазье.

– Сию секунду, месье. Я откупорю и принесу бутылку в номер.

Они поднялись по лестнице.

– Ключ у вас с собой? – спросил Равич.

– Я не запираю.

– Но у вас же там деньги, документы. Могут обокрасть.

– Если запру, тоже могут.

– И то правда. При таких замках... Но все-таки, когда заперто...

– Может быть. Но когда приходишь с улицы, неохота доставать ключ и пустую комнату отпирать – все равно как склеп отпираешь. Сюда и без ключа-то заходить тошно. Когда тебя никто не ждет, одни чемоданы.

– Да нигде никто и ничто нас не ждет, – заметил Равич. – Так всю жизнь только себя с собой же и таскаешь.

– Может быть. Но иногда хоть иллюзия, хоть видимость какая-то есть. А тут ничего.

Жоан Маду сбросила пальто и берет на кровать и взглянула на Равича. На бледном лице ее светлые глаза казались огромными, гнев и отчаяние застыли в них. Секунду она постояла в нерешительности. Потом принялась расхаживать взад-вперед по маленькой комнате, засунув руки в карманы, широким, энергичным шагом, резко и гибко, всем телом, поворачиваясь на углах. Равич внимательно наблюдал за ней. Откуда вдруг взялась эта сила и порывистая грация: казалось, в гостиничном номере ей тесно, как зверю в западне.

В дверь постучали. Портье внес коньяк.

– Не желают ли господа чего-нибудь перекусить? Холодной курятины? Бутербродов?

– Пустая трата времени, дружище. – Равич расплатился и выпроводил его за дверь. Потом наполнил две рюмки. – Прошу. Варварски, без затей, но иногда, когда совсем худо, только так и надо. Изыски прибережем до лучших времен.

– А потом?

– Потом выпьем еще.

– Я уже пробовала. Не помогает. Одному напиваться плохо.

– Ну, это смотря как напиваться. Если как следует, то нормально.

Равич уселся в узенький, хлипкий шезлонг, что стоял у стены напротив кровати. В прошлый раз он его не заметил.

– Когда я вас сюда привез, разве был здесь шезлонг? – спросил он.

Она покачала головой.

– Это я попросила поставить. Неохота было спать в кровати. Думала, чего ради? Постель расстилать, раздеваться, ну и все такое. Зачем? Утром и днем еще куда ни шло. Но ночью...

– Вам нужно дело какое-нибудь. – Равич закурил сигарету. – Жаль, Морозова мы не застали. Я не знал, что у него сегодня выходной. Завтра же вечером отправляйтесь к нему. Уж что-нибудь он для вас раздобудет. Даже если это работа на кухне – все равно не отказывайтесь. Будете заняты по ночам. Ведь вы этого хотите?

– Хочу.

Жоан Маду перестала расхаживать по комнате. Она выпила свою рюмку и села на кровать.

– Я каждую ночь по городу бродила. Пока бродишь, как-то легче. А когда тут сидишь и на тебя потолок давит...

– И ничего с вами не случилось? Вас даже не обокрали?

– Нет. Должно быть, по мне сразу видно, что красть у меня особо нечего. – Она протянула Равичу свою пустую рюмку. – А все прочее? Иной раз мне так хотелось, чтобы со мной хоть кто-то заговорил! Чтобы хоть что-то еще, кроме хождения этого... Чтобы хоть чей-то взгляд на тебя посмотрел, чьи-то глаза, а не одни эти голые камни! Чтобы не быть изгоем, когда совсем приткнуться некуда. Словно ты на другой планете. – Тряхнув головой, она отбросила назад волосы и взяла протянутую Равичем рюмку. – Не знаю, зачем я об этом говорю. Я не хотела. Может, это оттого, что все эти дни я была как немая. Может, потому, что

сегодня вечером я впервые... – Она осеклась. – Вы меня не слушаете?

– Я пью, – отозвался Равич. – Говорите, не стесняйтесь. Сейчас ночь. Никто вас не слышит. Я слушаю только себя. Завтра утром все забудется.

Он откинулся в шезлонге. Где-то в номерах шумела вода. Утробно журчала батарея отопления, а в окно мягкими пальцами все еще постукивал дождик.

– А когда потом придешь, свет выключишь, и сразу темнота наваливается, как вата с хлороформом, – и ты снова свет включаешь и глаза не можешь сомкнуть...

«Похоже, я уже набрался», – подумал Равич. Что-то рановато сегодня. Или всему виной этот полумрак? А может, и то и другое? Но это уже совсем не та невзрачная, бесцветная женщина... Эта совсем другая... У нее вон, оказывается, какие глазищи. И лицо. Он же чувствует: вон как на него смотрят. Не иначе тени. Призраки. И это мягкое пламя в голове. Первые всполохи опьянения.

Он не слушал, что говорит Жоан Маду. Он это знает и больше не желает знать. Одиночество – вечный рефрен жизни. Обычная вещь, не лучше и не хуже, чем многое другое. Просто слишком много о нем разглагольствуют. На самом-то деле ты всегда один. Всегда и никогда. Откуда-то вдруг запела скрипка, одинокий голос в полумраке. Загородный ресторанчик, зеленые холмы вокруг Будапешта. Дурман цветущих каштанов. Ветер. И нахохлившимся совенком на плече, хлопая в сумраке желтыми плошками глаз, – сны, грезы. Ночь, которая все никак не наступит. Час, когда красивы все женщины. Распахнутые крылья вечера, мохнатые, кофейные, как крылья бражника.

Он поднял глаза.

– Спасибо, – тихо сказала Жоан.

– За что?

– За то, что дали мне выговориться и не слушали. Это правильно. То, что было мне нужно.

Равич кивнул. Он увидел, что ее рюмка снова пуста.

– Вот и отлично, – сказал он. – Оставляю вам бутылку.

Он встал. Эта комната. Женщина. И больше ничего. В лице только бледность и уже никакого света.

– Вы уже уходите? – спросила Жоан, тревожно озираясь, словно в комнате затаился кто-то еще.

– Вот адрес Морозова. Имя, фамилия, чтобы вы не перепутали и не забыли. Завтра вечером, в девять. – Равич записал в блокнот для рецептов. Оторвал листок и положил на чемодан.

Жоан Маду тоже встала и уже брала плащ и берет. Равич посмотрел на нее.

– Провожать меня не надо.

– А я и не провожаю. Просто не хочу тут оставаться. Не сейчас. Пойду еще пройдуся.

– Но тогда вам опять возвращаться. И снова входить в пустую комнату. Почему бы вам не остаться? Раз вы уже здесь?

– Скоро утро. Утром вернусь. Утром легче.

Равич подошел к окну. Дождь не прекращался. Его мокрые серые нити колыхались на ветру в золотистых нимбах уличных фонарей.

– Ладно вам, – сказал он. – Давайте еще по рюмочке, а после вы ляжете спать. Погода совсем не для прогулок.

Он взял бутылку. Внезапно Жоан оказалась совсем близко.

– Не бросай меня здесь! – выпалила она, и он даже ощутил ее дыхание. – Не бросай меня здесь, только сегодня не бросай; не знаю, что со мной, но только не сегодня! Завтра я соберусь с духом, а сегодня не могу; я раскисла и совсем расклеилась, у меня ни на что нет сил. Не надо было меня отсюда вытаскивать, пожалуйста, только не сегодня – не могу я сейчас одна остаться.

Равич аккуратно поставил бутылку и осторожно убрал ее руки со своего плеча.

– Детка, – сказал он, – рано или поздно всем нам приходится к этому привыкать. – Глазами он уже изучал шезлонг. – Я могу заночевать и здесь. Какой прок еще куда-то тащиться? Но мне обязательно нужно пару часов поспать. Утром в девять у меня операция. Однако поспать я смогу и здесь, ничуть не хуже, чем у себя. Ночное дежурство – мне не впервой. Это вас устроит?

Она кивнула. Она все еще стояла совсем близко.

– Но в полвосьмого мне надо уйти. Несусветная рань. Вас это не разбудит?

– Не страшно. Я встану и приготовлю вам завтрак, я все...

– Ничего вам делать не надо, – перебил ее Равич. – Позавтракаю в ближайшем кафе, как всякий честный работяга: кофе с ромом и круассаны. Остальное – когда в клинику приду. Недурственно будет попросить медсестру Эжени приготовить мне ванну. Хорошо, остаемся здесь. Две души, заблудшие в ноябрьской ночи. Вы занимаете кровать. Если хотите, могу спуститься к старичку портье, пока вы будете укладываться.

– Нет, – выдохнула Жоан.

– Да я не убегу. Нам все равно кое-что понадобится: подушки, одеяло и прочее.

– Я могу позвонить.

– Позвонить могу и я. Такие дела лучше доверять мужчине.

Портье явился быстро. Он нес вторую бутылку коньяка.

– Вы нас переоцениваете, – усмехнулся Равич. – Большое спасибо. Но мы, видите ли, всего лишь чахлое послевоенное поколение. Нам, наоборот, нужны одеяло, подушка, немного белья. Придется мне здесь заночевать. На улице вон как льет, да и холодно. А я только третьего дня на ноги встал после тяжелейшего воспаления легких. Можете все это устроить?

– Разумеется, сударь. Я уже и сам о чем-то таком подумывал...

– Вот и отлично. – Равич закурил. – Я выйду в коридор. Погляжу, какая там у дверей выставлена обувь. Это моя давняя страсть. Да не сбегу я, – добавил он, перехватив взгляд Жоан Маду. – Я вам не Иосиф Египетский. И пальто свое в беде не брошу.

Портье вернулся с вещами. При виде Равича, изучающего в коридоре обувь постояльцев, лицо его прояснилось.

– Такое увлечение – большая редкость в наши дни, – заметил он.

– Я редко ему предаюсь. Только на день рождения и в Рождество. Давайте сюда вещи, я сам их отнесу. А это еще что такое?

– Грелка, сударь. Ведь у вас было воспаление легких.

– Превосходно. Но я предпочитаю обогреться коньяком. – Равич достал из кармана несколько бумажек.

– Сударь, у вас наверняка нет с собой пижамы. Могу предложить несколько штук на выбор.

– Спасибо, любезнейший. – Равич смерил старичка взглядом. – Боюсь, мне ваши пижамы будут малы.

– Напротив, сударь. Они будут вам в самый раз. И они совершенно новые. Признаюсь по секрету: мне их как-то по случаю подарил один американец. А тому их подарила одна дама. Но сам я пижамы не ношу. Я сплю в ночной рубашке. Пижамы совершенно новые, месье.

– Ладно, уговорили. Тащите их сюда. Поглядим.

Равич остался ждать в коридоре. Перед дверями обнаружили три пары обуви. Высокие мужские ботинки, но не на шнурках, а с разношенными резиновыми вставками. Из-за двери доносился напористый храп владельца. Еще две пары

держались вместе: мужские коричневые полуботинки и дамские лаковые туфельки с пуговичкой и на шпильках. И хотя стояли они рядышком, возле одной двери, вид у обеих пар был на удивление сиротливый.

Портье принес пижамы. Они и впрямь оказались царские. Новехонькие, даже еще в картонке роскошного магазина «Лувр», где они были куплены.

– Жаль, – пробормотал Равич. – Жаль, что нельзя взглянуть на даму, которая их выбирала.

– Можете выбрать любую себе на ночь, сударь. Покупать не обязательно.

– И сколько же стоит прокат такой пижамы?

– Сколько дадите.

Равич полез в карман.

– Ну что вы, сударь, это слишком щедро, – засмутился старичок.

– Вы что, не француз?

– Отчего же. Я из Сен-Назера.

– Тогда, значит, это богатеи-американцы так вас развратили. И запомните: за такую пижаму никаких денег не жалко.

– Я рад, что она вам понравилась. Спокойной ночи, сударь. А пижаму я завтра у дамы заберу.

– Завтра утром я сам вам ее вручу. Разбудите меня в половине восьмого. Только постучите тихонько. Не волнуйтесь, я услышу. Спокойной ночи.

– Вы только взгляните на это. – Равич показал Жоан Маду пижамы. – Хоть Дедом Морозом наряжайся. Этот портье просто кудесник. А что, я эту красоту даже

надену. Чтобы выглядеть смешным, мало просто мужества, надо обладать еще и известной мерой непринужденности.

Он постелил себе на шезлонге. Не все ли равно, где спать – у себя в гостинице или здесь. В коридоре он даже обнаружил вполне приличную ванную комнату, а портье снабдил его новой зубной щеткой. А на остальное плевать. Эта женщина все равно что пациент.

Он налил коньяку, но не в рюмку, а в стакан, и поставил вместе с рюмкой возле кровати.

– Полагаю, этого вам хватит, – заметил он. – Так будет проще. Мне не понадобится вставать и наполнять вам рюмку. А бутылку и вторую рюмку я заберу себе.

– Рюмка мне не нужна. Могу выпить и из стакана.

– Тем лучше. – Равич уже устраивался на шезлонге. Это хорошо, что она больше о нем не заботится. Она добилась, чего хотела, и теперь, слава Богу, не разыгрывает из себя примерную домохозяйку.

Он налил себе рюмку и поставил бутылку на пол.

– Будем!

– Будем! И... спасибо!

– Не за что. Мне и самому не больно хотелось под дождь вылезать.

– Там все еще дождь?

– Да.

С улицы в безмолвие комнаты прокрадывался слабый, мягкий перестук, словно густой, серой, унылой кашей, безутешнее и горше всего на свете, просилось вползти само горе, – некое давнее, безликое, невесть чье воспоминание накатывало нескончаемой волной, норовя накрыть, слизнуть и похоронить в себе

то, что оно когда-то выбросило и позабыло на берегу пустынного острова, – толику души, света, мысли.

– Подходящая ночь для выпивки.

– Да. И совсем неподходящая для одиночества.

Равич помолчал немного.

– К этому всем нам пришлось привыкать, – вымолвил он наконец. – Все, что прежде роднило и сплачивало нас, теперь порушено. Связующая нить порвалась, и мы рассыпались, как бусины. Нам не на что опереться. – Он снова наполнил рюмку. – Мальчишкой я как-то раз заснул на лугу. Дело было летом, небо было ясное. Когда засыпал, я смотрел на Орион, он был далеко над лесом, почти на горизонте. А когда проснулся среди ночи – Орион стоял в вышине прямо надо мной. Никогда этого не забуду. Я учил, конечно, что Земля – небесное тело и что она вращается, но я учил это, как многое учишь из учебника, не особо задумываясь, просто чтобы запомнить. А тут вдруг я впервые ощутил, что это и в самом деле так. Я почувствовал, как земной шар стремительно летит куда-то в невероятных пространствах. Я так явственно это почувствовал, что хотелось вцепиться руками в траву, лишь бы меня не сбросило. Должно быть, это оттого, что я, очнувшись от глубокого сна, в первый миг оказался как бы вне своей памяти и всего привычного, наедине только с этим необъятным, странно сместившимся небом. Земля подо мной вдруг перестала казаться надежной опорой – и с тех пор так до конца ею и не сделалась.

Он допил свою рюмку.

– Из-за этого многое стало трудней, но многое легче. – Он глянул в ее сторону. – Не знаю, тут ли вы еще. Если устали, просто не отвечайте, и все.

– Еще нет. Но скоро. Одна точка все никак не заснет. Ей холодно и не спится.

Равич снова поставил бутылку на пол. Он чувствовал, как тепло комнаты проникает в него флюидами сонной усталости. Какие-то тени. Призраки. Мановение крыл. Чужая комната, ночь, за окном тихой барабанной дробью монотонный перестук дождя – последний приют на краю хаоса, светлячок

оконца среди запустения без края и конца, чье-то лицо, к которому устремлены его слова...

– А вам доводилось чувствовать такое? – спросил он.

Она помолчала.

– Да. Но не совсем так. Иначе. Когда целый день не с кем поговорить, а потом бродишь ночью, и вокруг люди, и все они как-то пристроены в жизни, куда-то идут, где-то живут. Все, кроме меня. Вот тогда мне начинало казаться, что все вокруг сон или что я утонула и брожу в незнакомом городе, как под водой.

За дверью слышались шаги – кто-то поднимался по лестнице. Повернулся в замке ключ, хлопнула дверь. И сразу зашумела вода.

– Чего ради вы остаетесь в Париже, если никого здесь не знаете? – спросил Равич. Его уже одолевала дремота.

– Не знаю. А куда мне еще деваться?

– Вам что, никуда не хочется вернуться?

– Нет. Да и невозможно никуда вернуться.

Ветер плеснул в окно пригоршню дождя.

– А в Париж вы зачем приехали? – спросил Равич.

Жоан Маду не отвечала. Он даже решил, что она заснула.

– Мы с Рашинским приехали в Париж, чтобы расстаться, – вдруг заговорила она снова.

Равич даже не удивился ее словам. Бывают часы, когда перестаешь удивляться. Постоялец, только что вернувшийся в комнату напротив, теперь блевал. Сквозь темноту из его номера доносились глухие стоны.

– Что же вы тогда так отчаивались?

– Да потому что он умер! Умер! Вдруг раз – и нету! И не вернуть! Умер! И уже ничего не поделаешь! Неужели не понимаете? – Приподнявшись на локте, она смотрела на Равича во все глаза.

«Потому что он тебя опередил. Ушел раньше. Оставил одну, а ты не успела подготовиться».

– Я... Мне надо было с ним по-другому... Я была...

– Забудьте. Раскаяние самая бесполезная вещь на свете. Назад все равно ничего не вернешь. Ничего не загладишь. Будь это иначе, мы бы все были святыми. Жизнью в нас предусмотрено все, что угодно, только не совершенство. Совершенству место в музее.

Жоан Маду не отвечала. Равич видел: она выпила еще и откинулась на подушку. Что-то еще ведь надо сказать, но он слишком устал, чтобы додумать. Да и не все ли равно? Спать хочется. Ему завтра оперировать. А это все его не касается. Он поставил пустую рюмку на пол рядом с бутылкой. «Куда меня только не заносит, – думал он. – Даже чудно».

6

Когда Равич вошел, Люсьена Мартинэ сидела у окна.

– И каково же это, в первый раз подняться с койки? – спросил он.

Девушка глянула на него, потом на пасмурную муть за окном, потом снова на него.

– Погодка нынче не больно хороша, – заметил Равич.

– Отчего же? – откликнулась она. – Для меня так даже очень.

– Почему?

– Потому что выходить не надо.

Она сидела, съежившись в кресле, на плечах дешевенький бумазейный халатик – шуплое, невзрачное создание с испорченными зубами, но для Равича в эту секунду она была прекраснее, чем сама Елена Троянская. Комочек жизни, который он спас своими руками. Не то чтобы он считал себя вправе гордиться, ведь совсем недавно такой же комочек жизни он потерял. И следующий, возможно, потеряет, а в конечном счете, строго говоря, потеряет всех, да и себя тоже. Но вот этот, на данную минуту, он спас.

– В такую погоду шляпы разносить – это вам не шутки, – проговорила Люсьена.

– Вы шляпы разносили?

– Да. У мадам Ланвер. Ателье на Матиньонском проспекте. До пяти мы работали. А потом надо было еще картонки клиентам разносить. Сейчас полшестого. Вот я бы сейчас и бегала. – Она снова глянула в окно. – Жалко, дождя нет. Вчера лучше было. Лило как из ведра. Сейчас кто-то другой за меня отдувается.

Равич уселся на подоконник напротив нее. Вот ведь странность, подумал он. Ты-то ждешь, что человек, избежавший гибели, будет счастлив до беспамятства. Но так почти никогда не бывает. И эта вот тоже. С ней, можно сказать, чудо свершилось, а ее только одно волнует – что ей под дождь не идти.

– Почему вы у нас, именно в нашей клинике оказались, Люсьена? – спросил он.

Она насторожилась.

– Так мне адресок подсказали.

– Кто?

– Знакомая одна.

– Что за знакомая?

Люсьена помедлила.

– Ну, она тоже тут побывала. Я сама ее сюда привезла, до самой двери. Потому и знала.

– Когда это было?

– За неделю до меня.

– Это та, что умерла во время операции?

– Да.

– И вы все равно сюда пришли?

– Ну да, – равнодушно бросила Люсьена. – Почему нет?

Равич много чего хотел сказать, но сдержался. Он смотрел в это блеклое, холодное личико, когда-то по-детски мягкое, но быстро ожесточившееся в передрягах жизни.

– А до этого вы, должно быть, и у той же повитухи побывали? – спросил он.

Люсьена не ответила.

– Или у того же врача? Мне-то можете сказать. Я же все равно не знаю, кто это.

– Мари первая там была. На неделю раньше. Нет, дней на десять.

– А вы потом туда же пошли, хотя и знали, что с Мари случилось?

Люсьена передернула плечами.

– А что мне было делать? Пришлось рискнуть. Другого-то я никого не знала. А ребенок... Ну на что мне ребенок? – Она уставилась в окно. На балконе напротив

под зонтиком стоял мужчина в подтяжках. – Сколько мне еще тут быть, доктор?

– Недели две.

– Две недели еще?

– Это немного. А в чем дело?

– Так это ж сколько денег...

– Ну, может, удастся выписать вас на пару дней пораньше.

– Вы думаете, мне это по карману? Да откуда у меня такие деньги? Это же дорого, тридцать франков в сутки.

– Кто вам это сказал?

– Сестра.

– Которая?

– Эжени, конечно... Она говорит, за операцию и перевязки еще отдельно надо платить. Это очень дорого?

– За операцию вы уже заплатили.

– А она говорит, это далеко не все.

– Сестра не очень в курсе, Люсьена. Лучше вы потом доктора Вебера спросите.

– Да я бы поскорее хотела узнать.

– Зачем?

– Хочу подсчитать, сколько мне за это отрабатывать. – Люсьена глянула на свои руки и стала загигать тонкие, исколотые иголками пальцы. – Мне ведь еще за месяц за комнату платить, – объясняла она. – Когда я сюда попала, было как раз тринадцатое. Пятнадцатого надо было хозяйку предупредить, что я съезжаю. А теперь вот за целый месяц ей плати. Ни за что ни про что.

– У вас совсем никого нет, кто бы вам помог?

Люсьена подняла глаза. Лицо ее вдруг постарело лет на десять.

– Вы же сами знаете, доктор! Он только злился. Мол, знал бы, что я такая дуручка, в жизни бы со мной не связался.

Равич кивнул. Обычная история.

– Люсьена, – сказал он, – мы могли бы попытаться что-то взыскать с той женщины, которая так вас искромсала. Это все по ее вине. Вы только должны ее назвать.

Девушка мгновенно ошетибилась. В замкнутом лице читалось лишь одно – отпор.

– В полицию? Ну нет, еще сама влипнешь.

– Да без полиции. Достаточно просто припугнуть.

Она только усмехнулась:

– Это ее-то? Ничего вы с нее не получите. Железяка, а не человек. Три сотни с меня содрала. И за это меня же... – Она оправила на себе халатик. – Просто некоторым людям не везет в жизни, – добавила она без тени обиды в голосе, словно говорит не о себе, а о ком-то еще.

– Только не вам, – возразил Равич. – Вам-то как раз повезло, да еще как.

В операционной он застал Эжени. Та чистила что-то никелированное до полного блеска. Одно из ее любимейших занятий. Она была настолько увлечена, что даже не услышала, как он вошел.

– Эжени, – позвал он.

Та вздрогнула.

– Ах, это вы! Опять вы меня пугаете!

– Не знал, что я такая страшная птица. Но вот вам, Эжени, не следовало бы пугать пациентов рассказами о гонорарах и прочих затратах.

Эжени, все еще с тряпкой в руках, тут же приняла боевую стойку.

– А эта потаскуха, конечно, уже все разболтала.

– Эжени, – устало сказал Равич, – среди женщин, ни разу не переспавших с мужчиной, куда больше потаскух, чем среди тех, кто зарабатывает этим свой нелегкий хлеб. Не говоря уж о замужних. Кроме того, девчонка никому ничего не разболтала. Просто вы испортили ей день, вот и все.

– Подумаешь, велика важность! При таком-то образе жизни – и такая чувствительность!

«Ах ты, проповедь ходячая, – мысленно ругнулся Равич. – Что знаешь ты, мерзкая спесивая ханжа, о беспросветном одиночестве малютки-белошвейки, которая храбро пошла к той же самой повитухе, что изуродовала ее подружку, а потом в ту же самую клинику, где эта подружка умерла, и которая обо всем этом только и может сказать: а что мне было делать? Да еще: а как я за все это расплачусь?»

– Вам замуж пора, Эжени, – посоветовал Равич. – Подыщите себе вдовца с детьми. А еще лучше – хозяина похоронной конторы.

– Господин Равич, – голос Эжени был исполнен достоинства, – попрошу вас впредь не беспокоиться о моей личной жизни. Иначе я буду вынуждена пожаловаться господину доктору Веберу.

– Да вы и так с утра до ночи ему на меня стучите. – Равич не без удовольствия наблюдал, как по щекам медсестры расползаются два красных пятна. – Скажите, Эжени, ну почему набожные люди так редко бывают терпимы? Вот у циников характер куда легче. А самый несносный – у идеалистов. Вас это не наводит на размышления?

– Слава Богу, нет.

– Я так и полагал. Ну что ж, отправлюсь-ка я в обитель греха. То бишь в «Осирис». Это на тот случай, если я доктору Веберу понадобится.

– Не думаю, что вы доктору Веберу понадобитесь.

– Девственность еще не гарантия ясновидения, Эжени. Всякое бывает. Так что примерно до пяти я пробуду там. А потом у себя в гостинице.

– Тоже мне гостиница. Еврейский клоповник.

Равич обернулся.

– Эжени, отнюдь не все беженцы евреи. И даже не все евреи – евреи. И, напротив, бывают такие евреи, о которых ни за что не догадаешься, что они евреи. Лично я знал даже одного еврея-негра. Страшно одинокий был человек. Единственное, что он по-настоящему любил, – это китайскую еду. Чего только не бывает на свете.

Сестра ничего не ответила. Они исступленно терла никелированный поднос, и так начищенный до блеска.

Равич сидел в бистро на Буасьерской и сквозь потеки дождя смотрел на улицу, когда вдруг увидел за окном лицо того человека. Это был как удар под дых. На миг он оторопел и вообще не понимал, что происходит, но еще через секунду, оттолкнув столик, он вскочил со стула и, не обращая внимания на многочисленных посетителей, кинулся к выходу.

Кто-то цапнул его за рукав. Он обернулся.

– Что?

Оказалось, это официант.

– Месье, вы не расплатились.

– Что? Ах да... Сейчас вернусь. – Он попытался вырваться.

Официант побагровел.

– Не положено! Вы...

– Держите...

Равич выхватил из кармана купюру, швырнул ее официанту и рванул на себя дверь. Протиснувшись сквозь кучку людей у входа, он метнулся за угол, на Буасьерскую.

Кого-то он толкнул, еще кто-то ругнулся ему вслед. Он опомнился, перешел с бега на быстрый шаг, но такой, чтобы не бросалось в глаза. «Это невозможно, – пронеслось у него в голове, – невозможно, с ума сойти, нет, невозможно! Лицо, это лицо, чушь, видимо, просто сходство, случайное, но чудовищное сходство, дурацкая игра воспаленного воображения – да не может он быть в Париже, он в Германии, в Берлине, это просто мокрое стекло, было плохо видно, вот я и обознался, наверняка обознался...»

Но он все шел и шел дальше, стремглав, проталкиваясь сквозь толпу, вывалившую из кинотеатра, оборачиваясь на каждого, кого обгонял, всматриваясь в лица, заглядывая под поля шляп, не обращая внимания на удивленные, недовольные взгляды, вперед, вперед, еще лицо, еще шляпы, серая, черная, синяя, он обгонял, оборачивался, буравил глазами...

Дойдя до проспекта Клебера, он остановился. Женщина, женщина с пуделем, вдруг вспомнил он. А сразу за ней появился тот, другой...

Но женщину с пуделем он давным-давно обогнал. Он метнулся обратно. Еще издали заметив даму с собачкой, он остановился на краю тротуара. Стиснув в карманах кулаки, впивался в лицо каждому прохожему. Пудель задержался у фонарного столба, долго его обнюхивал, потом торжественно, медленно задрал заднюю лапу. Обстоятельно поскреб брусчатку и гордо побежал дальше. Равич вдруг почувствовал: затылок взмок от пота. Он подождал еще пару минут – лицо не появлялось. Он оглядел поставленные вдоль тротуара машины. Нигде никого. Тогда он снова повернул и дошел до станции подземки на проспекте Клебера. Спустился вниз, пробил билет и вышел на перрон. Народу было довольно много. Он не успел пройти перрон до конца – подошел поезд, забрал пассажиров и уполз в жерло тоннеля. Перрон разом опустел.

Он не торопясь вернулся в бистро. Сел за тот же столик. Там все еще стояла его недопитая рюмка кальвадоса. Было странно, что она все еще тут стоит.

Хорьком подскочил официант.

– Извините, сударь. Я не знал...

– Да ладно, – отмахнулся Равич. – Принесите мне лучше другую рюмку кальвадоса.

– Другую? – Официант недоуменно смотрел на его недопитую рюмку. – А эту, что ли, допивать не будете?

– Нет. Другую мне принесите.

Официант взял рюмку и даже ее понюхал.

– Что, плохой кальвадос?

– Да нет. Просто принесите мне другую рюмку.

– Как скажете, месье.

«Я обознался, – думал Равич. – Мокрое стекло, сплошь потеки, как тут что-то разглядишь?» Он безотрывно смотрел в окно. Словно охотник, поджидающий

зверя, он пристально вглядывался в каждого прохожего, – но в те же минуты в голове его призрачной кинолентой воспоминаний, в чередѣ серых, но до боли отчетливых кадров, обрывками воспоминаний прокручивалось совсем другое кино...

Берлин тридцать четвертого, летний вечер, штаб-квартира гестапо; кровь; унылые, вовсе без окон, стены камеры; нестерпимый свет голых электрических лампочек; гладкий, в бурых запекшихся пятнах, стол с перетяжками ремней; болезненная ясность в истерзанной бессонницей голове, когда тебя сперва душат до потери сознания, а потом, чтобы очухался, окунают в ведро с водой; почки, отбитые до такой степени, что уже не чувствуешь боли; искаженное ужасом лицо Сибиллы; подручные палача, несколько молодчиков в мундирах, ее держат, и эта ухмыляющаяся рожа, и этот голос, почти ласково объясняющий тебе, что с этой женщиной сделают, если ты не признаешься, – Сибилла, которую три дня спустя обнаружат в камере мертвой, – якобы повесилась.

Снова подошел официант, поставил перед ним рюмку.

– Это другой сорт, месье. От Дидье из Кана. Старше и крепче.

– Хорошо. Ладно. Благодарю.

Равич выпил. Достал из кармана пачку сигарет, выудил одну, закурил. Руки все еще ходили ходуном. Он бросил спичку на пол и заказал еще кальвадоса.

Эта ухмыляющаяся рожа, это лицо, которое, как ему показалось, он только что видел снова, – да нет, тут какая-то ошибка! Чтобы Хааке – и вдруг в Париже, нет, невозможно. Исключено! Он даже головой тряхнул, лишь бы отогнать воспоминание. Какой прок изводить себя понапрасну, пока ты ничего не можешь поделать? Вот когда там все рухнет, когда можно будет вернуться – тогда и наступит час...

Он подозвал официанта, расплатился. Но на обратном пути так и не смог заставить себя не вглядываться в лицо каждому встречному.

Они сидели с Морозовым в «катакомбе».

– Так ты не веришь, что это был он? – спросил Морозов.

– Нет. Хотя с виду похож. Сходство просто поразительное. Либо это память уже пошаливает.

– Обидно, что ты в бистро сидел.

– Да уж.

Морозов помолчал.

– Из-за этого потом с ума сходишь, верно? – спросил он затем.

– Да вроде нет. Почему?

– Да потому что точно не знаешь.

– Я знаю.

Морозов не ответил.

– Тени прошлого, – пояснил Равич. – Я-то думал, что уже от них избавился.

– От них не избавишься. Меня тоже донимали. Особенно поначалу. Лет пять, шесть. В России меня еще трое дожидаются. Было семеро. Четверо уже на том свете. Двоих своя же партия в расход пустила. А я уже лет двадцать своего часа жду. С семнадцатого. Хотя одному из этих троих, которые в живых остались, уже под семьдесят. Но другим двоим годков по сорок – пятьдесят. С ними-то, надеюсь, еще успею по квитаться. За батюшку моего.

Равич глянул на Бориса. Детина, конечно, но ведь ему уже за шестьдесят.

– Успеешь, – сказал он.

– М-да... – Глядя на свои ладони, Морозов сжал и разжал кулаки. – Только того и жду. Стараюсь жить аккуратнее. Даже пить стал не так часто. Конечно, совсем

скоро оно, наверно, не получится. Так что силушку беречь надо. Я ведь хочу, чтобы без пули и без ножа...

– Я тоже.

Какое-то время они сидели молча.

– Ну что, не сыграть ли нам партию? – спросил Морозов.

– С удовольствием. Только доски свободной что-то не видно.

– Да вон у профессора как раз освободилась. Он с Леви сражался. Выиграл, как всегда.

Равич пошел брать доску и фигуры.

– Долго же вы играли, профессор, чуть не с обеда.

Старичок профессор кивнул.

– Зато отвлекает. Шахматы куда лучше, чем карты. В картах тебе либо везет, либо нет. Разве это отвлечение? А шахматы – это целый мир, свой, особый. И пока играешь, здешнего мира для тебя словно вообще нет. – Он поднял на Равича воспаленные глаза. – Не говоря уж о том, что мир шахмат куда совершеннее.

Леви, его партнер, вдруг залился блеющим смехом, но тут же умолк, испуганно озираясь, и поспешил удалиться вместе с профессором.

Они сыграли две партии. Затем Морозов встал.

– Мне пора. Пойду распахивать двери перед сливками человечества. Почему, кстати, ты перестал к нам заглядывать?

– Не знаю. Так совпало.

– Как насчет завтра? Вечерком?

– Завтра вечером не могу. Иду ужинать. К «Максиму».

Морозов ухмыльнулся:

– Не слишком ли большая наглость для беспаспортного беженца – по самым шикарным парижским кабакам шлаться?

– Как раз там-то, Борис, самое безопасное место для нашего брата. Если ведешь себя как беженец, то тебя и прихватят, как беженца. Уж тебе ли, с твоим-то нансеновским паспортом, этого не знать?

– Тоже верно. И с кем же ты ужинаешь? Уж не с германским ли послом – по персональному приглашению?

– С Кэте Хэгстрем.

Морозов присвистнул.

– Кэте Хэгстрем, – повторил он. – Так она вернулась?

– Завтра возвращается. Из Вены.

– Ну, тогда, значит, я тебя совсем скоро у нас увижу.

– Может, да, а может, и нет.

Морозов отмахнулся.

– Быть такого не может. Когда Кэте Хэгстрем в Париже, «Шехерезада» – ее главная резиденция.

– Сейчас другое дело. Она приехала ложиться на операцию. Уже на днях.

– Тогда тем более придет. Ты совсем не знаешь женщин. – Морозов пристально прищурился. – А может, тебе не хочется, чтобы она туда пришла?

– Это почему еще?

– Да я вот только что сообразил: ты перестал заходить как раз с тех пор, как прислал мне ту женщину. Жоан Маду. Сдается мне, это не просто совпадение.

– Чушь. Я даже не знал, что она все еще у вас. Значит, на что-то пригодилась?

– Ну да. Сперва в хоре была. А теперь у нее даже маленький сольный номер. Две-три песни.

– Выходит, она у вас как-то прижилась?

– Конечно. А ты сомневался?

– Уж больно она была несчастная. Совсем бедолага.

– Что?

– Говорю же тебе: бедолага.

Морозов улыбнулся.

– Равич, – проговорил он отеческим тоном, и в лице его вдруг отразились бескрайние просторы, степи, луга и вся мудрость человеческая, – не городи ерунды. Она, если хочешь знать, та еще стерва.

– Что?

– Стерва. Не потаскуха. А именно стерва. Был бы ты русский – знал бы, в чем разница.

Равич усмехнулся:

– Тогда, наверно, она сильно переменялась. Будь здоров, Борис. И храни господь твой глаз-алмаз.

7

– И когда же мне в клинику, Равич? – спросила Кэте Хэгстрем.

– Когда хотите. Завтра, послезавтра, когда угодно. Днем позже, днем раньше, не имеет значения.

Она стояла перед ним тоненькая, по-мальчишески стройная, миловидная, уверенная в себе – но, увы, уже не юная.

Два года назад Равич удалил ей аппендикс. Это была его первая операция в Париже. И она, он считал, принесла ему удачу. С тех пор он не сидел без работы, и неприятностей с полицией тоже не было. Так что Кэте стала для него чем-то вроде талисмана.

– В этот раз я боюсь, – призналась Кэте. – Сама не знаю почему. Но боюсь.

– Вам нечего бояться. Самая обычная операция.

Она подошла к окну. За окном пластался двор гостиницы «Ланкастер». Могучий старик каштан простирали к дождливому небу свои кряжистые руки.

– Этот дождь, – проговорила Кэте. – Из Вены выезжала – дождь. В Цюрихе проснулась – дождь. И здесь тоже... – Она задернула занавески. – Не знаю, что со мной. Старею, наверно.

– Так все говорят, кто еще не начал стареть.

– Но я по-другому должна себя чувствовать. Две недели назад развелась. Казалось бы, радоваться надо. А у меня – одна усталость. Все повторяется, Равич. Отчего так?

– Ничто не повторяется. Это мы повторяемся, вот и все.

Слабо улыбнувшись, она присела на софу возле искусственного камина.

– Хорошо, что я снова здесь, – вздохнула она. – Вена – это теперь сплошная казарма. Тоска. Немцы все растоптали. И австрийцы с ними заодно. Да-да, Равич, и австрийцы тоже. Я думала, австрийский нацист – это нонсенс, такого не бывает в природе. Но я их видела своими глазами.

– Неудивительно. Власть – самая заразная болезнь на свете.

– Да, и она сильнее всего деформирует личность. Из-за этого я и развелась. Очаровательный бонвиван, за которого я вышла замуж два года назад, превратился в горлопана-штурмфюрера. Старичка профессора Бернштейна он заставил шваброй драить мостовую, а сам смотрел и гоготал. Того самого профессора Бернштейна, который за год до этого вылечил его от воспаления почек. Гонорар, видите ли, был непомерный. – Кэте Хэгстрем скривила губы. – Гонорар, который, между прочим, уплатила я, а не он.

– Так радуйтесь, что вы от него избавились.

– За развод он потребовал двести пятьдесят тысяч шиллингов.

– Это дешево, – заметил Равич. – Все, что можно уладить деньгами, очень дешево.

– Он не получил ни гроша. – Кэте Хэгстрем вскинула свое изящное личико, безупречное, резное, как гемма. – Я ему выложила все, что думаю о нем самом, о его партии и о его фюрере, и пообещала, что впредь то же самое буду всем и каждому говорить публично. Он пригрозил мне гестапо и концлагерем. Я подняла его на смех. У меня все еще американское гражданство, и я нахожусь под защитой посольства. Со мной-то ничего не сделают, а вот с ним, когда выяснится, на ком он женат... – Она издала легкий смешок. – Этого он не предусмотрел. И больше препятствий не чинил.

Гражданство, посольство, защита, думал Равич. Слова-то какие, как с другой планеты.

– Странно, что Бернштейну все еще разрешают врачебную практику, – заметил он.

– А ему и не разрешают. Он меня принял нелегально, сразу после первого кровотечения. Какое счастье, что мне нельзя рожать. Ребенок от нациста...

Ее всю передернуло.

Равич встал.

– Ну, я пойду. Вебер после обеда еще раз вас обследует. Так, проформы ради.

– Конечно. И все равно в этот раз мне почему-то страшно.

– Бросьте, Кэте, вам же не впервой. Это куда проще, чем операция аппендицита, которую я вам делал два года назад. – Равич приобнял ее за плечи. – Вы же первый пациент, кого я оперировал в Париже. Это все равно что первая любовь. Так что я постараюсь. К тому же вы для меня вроде как талисман. Принесли мне удачу. Вам надо продолжать в том же духе.

– Хорошо, – сказала она и посмотрела на него.

– Вот и прекрасно. До свидания, Кэте. Вечером в восемь я за вами зайду.

– До свидания, Равич. А я схожу пока что в Мэнбоше, куплю себе вечернее платье. Надо сбросить с себя эту чертову усталость. И дурацкое чувство, будто угодила в паутину. А все эта Вена, – горько усмехнулась она. – Тоже мне, город грёз.

Равич спустился на лифте в просторный вестибюль и, минуя бар, направился к выходу. В баре коротали время несколько американцев. Посреди зала на столике стоял огромный букет гладиолусов. В сером полумраке вестибюля они казались увядшими, цвета спекшейся крови. И лишь подойдя ближе, Равич убедился, что цветы совсем свежие. Это мутный, пасмурный свет с улицы превратил их невесть во что.

На третьем этаже гостиницы «Интернасьональ» творилось что-то неладное. Двери многих комнат были настежь, горничные и коридорный носились взад вперед, а хозяйка, стоя в коридоре, командовала всем и вся. Такую картину и застал Равич, поднявшись по лестнице.

– Что стряслось? – спросил он.

Хозяйка была женщина крупная, с могучим бюстом, но маленькой головкой с короткими черными кудряшками.

– Так испанцы же съехали, – пояснила она.

– Я знаю. Но чего ради затевать уборку чуть ли не ночью?

– Комнаты нужны к утру.

– Новые немецкие эмигранты?

– Да нет, испанские.

– Испанские? – удивился Равич, в первый момент решив, что ослышался. – Так ведь они же только что съехали.

Хозяйка глянула на него черными бусинами глаз и снисходительно улыбнулась. Это была улыбка неподдельной иронии и житейской умудренности.

– Другие приедут.

– Какие другие?

– Которые с другой стороны. Оно всегда так бывает. – Между делом она успела прикрикнуть на пробежавшую горничную. – Как-никак мы почтенное заведение, – продолжила она не без гордости. – Постояльцы хранят нам верность. Они любят возвращаться в свои комнаты.

– Возвращаться? – не понял Равич. – Кто любит возвращаться?

– Те, которые с другой стороны. Большинство у нас уже когда-то останавливались. Кое-кого, конечно, уже поубивали. Но многие еще живы, в Беарице сидят или там в Сен-Жан-де-Луэ и ждут не дождутся, когда у нас комнаты освободятся.

– И что, они уже раньше у вас останавливались?

– Но, господин Равич! – Хозяйка явно была поражена столь вопиющей неосведомленностью. – Конечно, еще во времена, когда в Испании была диктатура Примо де Ривера[11 - Примо де Ривера и Орбанеха, Мигель (1870–1930) – испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 годах – диктатор, глава правительства Испании при короле Альфонсе XIII.]. Им тогда пришлось бежать, вот они у нас и жили. А когда Испания стала республиканской, вернулись на родину, зато сюда монархисты и фашисты пожаловали. Теперь этим пришел черед возвращаться, зато те, другие, опять приедут. Ну, те, кто уцелел.

– Верно. Я как-то не подумал.

Хозяйка заглянула в одну из комнат. Там над кроватью красовалась цветная литография – портрет короля Альфонса.

– Жанна, сними это, – скомандовала она.

Горничная принесла портрет.

– Вот сюда поставь. Сюда.

Хозяйка поставила портрет на пол, прислонив его к правой стенке, и двинулась дальше. В следующей комнате обнаружился портрет генерала Франко.

– Этого тоже снимай. Поставь туда же.

– А чего это испанцы свои картины с собой не взяли? – поинтересовался Равич.

– Эмигранты вообще редко картины с собой берут, когда на родину возвращаются. На чужбине для них это утешение. А на родине кому они нужны?

К тому же рамы перевозить – одно мучение, да и стекло чуть что бьется. Вот их почти всегда и оставляют.

Она прислонила к стене еще двух жирных генералиссимусов, одного Альфонса и небольшой портрет генерала Кейпо де Льяно[12 - Кейпо де Льяно и Сьерра, Гонсало (1875–1951) – испанский генерал, один из военачальников франкистских войск в гражданской войне 1936–1939 годов в Испании.].

– Иконы можно оставить, – рассудила она, обнаружив в одной из комнат аляповатую мадонну. – Святые – они вне политики.

– Не всегда, – заметил Равич.

– В тяжелые времена Бог никогда не помешает. Уж сколько атеистов у меня на глазах здесь молились. – Хозяйка энергичным тычком утрамбовала свою левую грудь. – Да вот хотя бы вам – вам разве не приходилось молиться, когда совсем приплет, когда жизнь на волоске?

– Разумеется. Да я и не атеист. Всего лишь слабоверующий.

По лестнице поднимался коридорный. Он тоже тащил целую охапку портретов.

– У вас что, перемена декораций? – спросил Равич.

– Конечно. В нашем деле знаете какая деликатность нужна? Только так и создается репутация заведения. Особенно при наших-то постояльцах, которые в подобных мелочах ой как щепетильны. И то сказать: какая радость человеку от комнаты, если со стенки на него смертельный враг пялится, да еще весь гордый такой, в красках и золоченой раме? Я права?

– На сто процентов.

Хозяйка переключилась на коридорного.

– Поставь-ка их всех сюда, Адольф. Хотя нет, прислони к стене вон там, где посветлее, рядом, чтобы лучше видно было.

Коридорный, хмыкнув, принялся за работу.

– Что же вы сейчас собираетесь развесить? – полюбопытствовал Равич. – Оленей? Пейзажи? Извержение Везувия?

– Ну, это на крайний случай. Если прежних картин не хватит.

– Каких прежних?

– Которые раньше висели. Которые господа побросали, когда на родину спешили, где ихние к власти пришли. Да вон они все.

Она указала на левую сторону коридора. Там коридорный тем временем успел расставить вдоль стенки другие портреты, аккуратной шеренгой напротив выдворенных. Здесь красовались два Маркса, три Ленина, один, правда, почему-то наполовину заклеен бумагой, один Троцкий, две газетные фотографии Негрина[13 - Хуан Негрин, Лопес (1892–1956) – испанский политический деятель, в 1937–1939 годах премьер-министр правительства республиканской Испании.] в скромных рамочках и несколько таких же портретов других вождей республиканской Испании. Эта шеренга оказалась куда скромнее противоположной: ни одного цветного портрета, ни тебе орденов, ни эполетов, не то что все эти Альфонсы, Франко и Примо де Ривера. Два мировоззрения стояли в боевом строю, молча таращась друг на друга в полутьме коридора, а между ними прохаживалась хозяйка французской гостиницы, умудренная жизненным опытом, тактом и ироническим складом ума – этими неизменными доблестями галльского духа.

– Когда господа съезжали, я эти вещи сберегла, – рассуждала она. – Правительства в наши дни долго не живут. Как видите, я не ошиблась: теперь они пригодились снова. В нашем деле прозорливость нужна.

И стала распределять, кого куда повесить. Троцкого она сразу забраковала – с ним все было как-то непонятно. Равич тем временем изучал загадочный портрет Ленина, почему-то заклеенный наполовину. Он отодрал полоску бумаги на уровне ленинской головы и обнаружил под ней голову все того же Троцкого, взирающего на Ленина с лучистой улыбкой. Очевидно, кто-то из поклонников Сталина его заклеил.

– Вот, – сказал Равич. – Еще один Троцкий, замаскировавшийся. Затаился с добрых старых времен сплоченности и партийного единства.

Хозяйка придирчиво осмотрела изображение.

– Можно спокойно выбрасывать, – рассудила она. – Это ни на что не годится. Тут либо одна половина оскорбительна, либо другая. – Она отдала картину коридорному. – Раму оставишь, Адольф. Рама хорошая, дуб.

– А этих куда денете? – спросил Равич. – Всех этих Альфонсов и Франко?

– Как куда? В подвал. Как знать, вдруг опять понадобятся.

– То-то у вас в подвале, наверно, красота. Мавзолей, правда, временный. И много там еще?

– Конечно! Русские. Несколько Лениных в картонных рамках, про запас, потом последний царь, тоже несколько штук. Эти от умерших постояльцев остались. Один портрет вообще замечательный, оригинал, масло, роскошная золоченая рама. Хозяин с собой покончил. Итальянцы есть. Два Гарибальди, три короля и один Муссолини, правда, плохонький, на газетной бумаге, еще с тех времен, когда он социалистом был в Цюрихе. Ну, он-то, впрочем, уже только как раритет интересен. Его никто к себе вешать не хочет.

– И немцы есть?

– Сколько-то Марксов, этих больше всего, один Лассаль, один Бебель, потом групповой снимок – Эберт, Штреземан, Носке[14 - Эберт, Фридрих (1871–1926), Штреземан, Густав (1878–1929), Носке, Густав (1868–1946) – немецкие политические деятели, в 20-е годы – лидеры правительства Веймарской республики.], ну и еще там по мелочи. Носке, кстати, уже чернилами замазан, он, как мне объяснили, с нацистами связался.

– Это правда. Можете отправить его к Муссолини. А на другую сторону немцев у вас нет?

– Ну как же. Один Гинденбург, один кайзер Вильгельм, один Бисмарк и даже, – хозяйка улыбнулась, – один Гитлер имеется, в плаще. У нас комплект на все случаи жизни.

– Как? – изумился Равич. – Даже Гитлер есть? Но этот-то как к вам успел пробраться?

– От одного гомосексуалиста остался. Он в тридцать четвертом заселился, ну, когда у вас там Рёма[15 - Рём, Эрнст Юлиус (1887–1934) – один из лидеров немецких национал-социалистов, соратник Гитлера, руководитель так называемых штурмовых отрядов (СА). Расстрелян летом 1934 года в ходе передела власти внутри нацистской правящей верхушки.] и многих других поубивали. Все время боялся и молился без конца. Потом один богач аргентинец его с собой забрал. Имя у него смешное было – Пуцци. Хотите на Гитлера взглянуть? Он в подвале.

– Не сейчас. Не в подвале. Лучше дождусь, когда вся эта красота в комнатах висеть будет.

Хозяйка стрельнула в него своими черными бусинами.

– Ах вон что, – догадалась она. – Хотите сказать: когда они сюда эмигрантами приедут?

На входе в «Шехерезаду» в роскошной ливрее с золотыми галунами стоял Борис; он любезно открыл дверцу их такси. Равич вылез. Морозов ухмыльнулся:

– Ты вроде к нам не собирался.

– Да я и не хотел.

– Это я его притащила, Борис. – Кэте Хэгстрем уже обнимала Морозова. – Слава Богу, я снова с вами!

– Душой вы русская, Катя. Одному Богу известно, как это вас угораздило в Бостоне родиться. Вперед, Равич! – Морозов распахнул тяжелую дверь. – Велик

человек в своих намерениях, да слаб в их осуществлении. В этом и беда, и прелесть рода человеческого.

Зал «Шехерезады» был оформлен в виде восточного шатра. Здесь обслуживали русские официанты в красных черкесках. Имелся и свой оркестр из русских и румынских цыган. Гости сидели за низкими столиками на банкетках-диванчиках, расставленных по кругу вдоль стены. В зале было довольно темно и довольно людно.

– Что будете пить, Кэте? – спросил Равич.

– Водку. А цыгане пусть играют. Хватит с меня «Сказок Венского леса» в ритме парадного марша. – Она скинула туфли и забралась с ногами на банкетку. – Знаете, Равич, усталость мою как рукой сняло. Несколько часов Парижа вернули меня к жизни. Но по-прежнему такое чувство, будто я бежала из концлагеря. Представляете?

Равич глянул на нее.

– Более или менее, – уклончиво ответил он.

Черкес уже принес им небольшую бутылку водки и рюмки. Равич их наполнил, одну поставил перед Кэте. Она жадно, залпом, выпила и только потом, поставив рюмку, огляделась по сторонам.

– Барахляный шалман, – изрекла она с улыбкой. – Но к ночи становится приютом бездомных и обителью грез.

Она откинулась на спинку диванчика. Мягкий свет из-под столешницы высветил ее лицо.

– Почему так, Равич? – заговорила она. – Почему ночью все становится красочней? И кажется, будто все легко и нет ничего невозможного, а если что-то и недостижимо, можно восполнить это грезами... Почему?

Он улыбнулся:

– Мы тешим себя грезами, потому что без них нам не вынести правды.

Оркестранты уже настраивали инструменты. Запела, задавая тон, квинта, потом пару раз вскрикнула всеми струнами скрипка.

– Вы не похожи на человека, который станет обманываться пустыми грезами.

– Обманываться можно и правдой. Это куда опасней, чем грезами.

Оркестр заиграл. Сперва только цимбалы. Обернутые замшей палочки осторожно, едва слышно тронули струны, извлекая из них в темноте потаенную, нежную мелодию, чтобы потом взметнуть ее ввысь в мягком глиссандо и передать скрипкам.

Пересекая пустынный круг сцены, к их столику медленно шел цыган. С плотоядно-отрешенным выражением лица, на котором бездумно застыла хищная улыбка, он остановился, прижимая скрипку к подбородку, и вперился в них нахальными, масляными глазами. Без скрипки это был бы заурядный конский барышник, но сейчас это был посланец степей, волшебных закатов, бескрайних далей и всякой прочей небывальщины.

Кэте Хэгстрем упивалась мелодией, купалась в ней, как в освежающих струях апрельского ручья. Она вся обратилась в эхо, но ей не на что было отозваться. Где-то совсем вдали едва слышались чьи-то голоса, проплывали обрывки воспоминаний, иногда, словно в складках парчи, что-то мелькало высверком, чтобы тут же погаснуть, – но зова, чтобы откликнуться, не было. Ее никто не звал.

Цыган отвесил поклон. Равич незаметно сунул ему купюру. Кэте, мечтательно замершая в своем углу, встрепенулась.

– Вы когда-нибудь были счастливы, Равич?

– Бывал, и не раз.

– Я не об этом. Я имею в виду – по-настоящему счастливы. Бездыханно, до беспамятства, всем существом своим.

Равич смотрел в это взволнованное, изящное, точеное лицо, которому ведомо лишь одно, самое хрупкое проявление счастья, счастье любви, и неведомо никакое другое.

– Не раз, Кэте, – повторил он, думая о чем-то совсем ином и втайне понимая: это тоже было не то.

– Вы не хотите меня понять. Или не хотите говорить об этом. Кто это там поет?

– Не знаю. Я давно тут не был.

– Певицу отсюда не видно. Среди цыган ее нет. Похоже, она сидит за одним из столиков.

– Должно быть, кто-то из гостей. Здесь это не редкость.

– Станный голос какой, – заметила Кэте. – Грустный и вместе с тем неистовый.

– Это песня такая.

– А может, это я такая. Вы понимаете слова?

– «Я вас любил...» Это Пушкин.

– Вы знаете русский?

– Совсем чуть-чуть. Только то, чему от Морозова нахватался. В основном ругательства. По этой части язык и впрямь выдающийся.

– Вы о себе рассказывать не любите, верно?

– Я о себе даже думать не люблю.

Она немного помолчала. Потом заговорила снова:

– Иногда мне кажется: прежней жизни уже не вернешь. Беззаботность, чаяния – все это кануло безвозвратно.

Равич улыбнулся:

– Ничто не кануло, Кэте. Жизнь слишком грандиозная штука, чтобы кончиться до нашего последнего вздоха.

Она, похоже, его не слушала.

– Часто это просто страх, – продолжала она. – Внезапный, необъяснимый страх. Ну, такое чувство, будто мы с вами сейчас выйдем отсюда, а там, на улице, весь мир уже рухнул в тартарары. У вас такое бывает?

– Да, Кэте. У каждого такое бывает. Типичная европейская болезнь. Вот уже двадцать лет по Европе гуляет.

Она опять умолкла.

– А это уже не русский, – заметила она, снова прислушиваясь к песне.

– Да, итальянский. «Санта Лючия».

Луч прожектора переполз от скрипача к столику возле оркестра. Теперь Равич увидел, кто поет. Это была Жоан Маду. Она сидела за столиком одна, опершись на него локтем, и смотрела прямо перед собой, словно думая о чем-то своем и никого вокруг не замечая. В круге света лицо ее казалось очень бледным. От того, что он помнил, от прежней стертости и расплывчатости в этом лице не осталось и следа. Сейчас оно вдруг предстало в ореоле пронзительной, какой-то гибельной красоты, и он вспомнил, что однажды уже видел его таким – той ночью у нее в комнате, однако тогда решил, что это просто плутни опьянения, да и само лицо вскоре угасло и кануло во тьму. И вот оно снова перед ним, теперь уже во всей своей немыслимой явности.

– Что с вами, Равич? – услышал он голос Кэте.

Он обернулся.

– Ничего. Просто песня знакомая. Душещипательная неаполитанская чушь.

– Вспомнили что-то?

– Да нет. Не о чем вспоминать.

Это прозвучало резче, чем ему хотелось. Кэте Хэгстрем глянула на него пристально.

– Иногда, Равич, мне и вправду хотелось бы знать, что с вами творится.

Он пренебрежительно отмахнулся.

– Примерно то же, что и со всеми остальными. На свете нынче полно авантюристов поневоле. Вы их найдете в любом пансионе для беженцев. И у каждого за душой такая история, что Александр Дюма или Виктор Гюго за счастье бы почли воспользоваться. А нынче, стоит кому-то начать нечто подобное о себе рассказывать, люди только зевают. Вот вам новая водка, Кэте. Самое невероятное приключение в наши дни – это спокойная, тихая, мирная жизнь.

Оркестр заиграл блюз. Получалось, впрочем, неважно. Тем не менее несколько пар уже танцевали. Жоан Маду встала и направилась к выходу. Она шла так, будто в зале вообще никого нет. Равич вдруг вспомнил, что говорил о ней Морозов. Она прошла довольно близко от их столика. Ему показалось, что она его заметила, но взгляд ее тотчас же равнодушно скользнул дальше, и она вышла.

– Вы ее знаете? – спросила Кэте Хэгстрем, следившая за его лицом.

– Нет.

– Видите, Вебер? – спросил Равич. – Вот. И вот. И вот...

Вебер склонился над открытой, в операционных зажимах, полостью.

– Да.

– Эти вот мелкие узелки – вот... и вот еще – это не киста и не сращения...

– Нет.

Равич распрямился.

– Рак, – произнес он. – Классический, несомненный рак. Самая злокозненная операция из всех, какие я делал в последнее время. Осмотр зеркалом ничего не показал, пальпация в области малого таза выявляет только легкое размягчение слева, так, небольшое выбухание. Предположительно киста или миома, ничего серьезного, но снизу оперировать невозможно, надо через брюшную полость, мы вскрываем, и что мы видим? Несомненный рак.

Вебер взглянул на него.

– Что вы намерены предпринять?

– Можем сделать срез, заморозить, отдать на биопсию. Буассон еще в лаборатории?

– Наверняка.

Вебер поручил сестре-ассистентке позвонить в лабораторию. Бесшумно ступая на резиновых подошвах, та мгновенно исчезла.

– Надо оперировать, – решил Равич. – Сделаем гистерэктомию. Что-то еще предпринимать не имеет смысла. Но она ведь ничего не знает, вот в чем беда. Пульс какой? – спросил он у сестры-анестезиолога.

– Ровный. Девяносто.

– Давление?

– Сто двадцать.

– Хорошо.

Равич смотрел на тело Кэте Хэгстрем. Та лежала в положении Трендельбурга: голова совсем низко, ноги кверху.

– О таких вещах пациента положено предупреждать заранее. Получить согласие. Не можем мы просто так в ней копать. Или можем?

– По закону нет. Но... мы все равно уже начали.

– Иначе было нельзя. Выскабливание было невозможно, снизу там не пройти. Но плод выскаблить – это одно, а матку удалить – совсем другое.

– Но ведь она, Равич, кажется, вам доверяет?

– Откуда мне знать? Может, и да. Но вот согласилась ли бы она? – Он поправил локтем съехавший на сторону резиновый фартук, надетый поверх халата. – И все-таки... я попробую продвинуться дальше. Насчет гистероэктомии потом решим. Скальпель, Эжени.

Он продлил разрез до пупка, наложил зажимы на мелкие сосуды. Более крупные перевязал двойными узлами, взял другой скальпель и взрезал желтоватую фасцию. Раздвинул мышцы тыльной стороной ножа, приподнял, вскрыл брюшину и закрепил ее к стерильному белью.

– Расширитель!

Ассистентка уже держала его наготове. Она пробросила цепочку с грузом между ног Кэте Хэгстрем и поставила широкий ретрактор, закрывающий мочево-пузырь.

– Салфетки!

Он обложил разрез влажными теплыми салфетками и аккуратно ввел щипцы.

– Смотрите, Вебер. Вот... И вот... Вот эта широкая связка. Обширное, затвердевшее образование. Зажимом Кохера уже не возьмешь. Слишком далеко все зашло.

Вебер пристально смотрел на место, которое показывал ему Равич.

– Видите, вот здесь, – объяснял Равич. – Артерии уже не перехватишь. Прорвутся, труха. И тут вон уже все проросло... Цветет пышным цветом. Безнадежно.

Он осторожно срезал тонкую полоску ткани.

– Буассон у себя?

– Да, – отозвалась сестра. – Он ждет.

– Хорошо. Пошлите это ему. Можем подождать результата. Это займет минут десять, не больше.

– Скажите ему, пусть сообщит по телефону, – распорядился Вебер. – Сразу же. Мы пока приостановим операцию.

Равич выпрямился.

– Пульс?

– Девяносто пять.

– Давление?

– Сто пятнадцать.

– Хорошо. Полагаю, Вебер, нам ни к чему ломать голову насчет согласия пациентки. Тут уже ничего поделать нельзя.

Вебер кивнул.

– Зашьем, – решил Равич. – Плод удалим, и все. Зашьем и ничего не скажем.

Равич стоял над вскрытым телом. Яркий свет усиливал контраст белоснежных простыней и зияющего жерла кровавой раны. Кэте Хэгстрем – тридцати четырех лет от роду, своенравная, хорошенькая, загорелая, тренированная, полная воли к жизни – приговорена к смерти в незримых клешнях, что неумолимо перемалывают клетки ее организма.

Он снова склонился над телом.

– Надо ведь еще...

Ребенок. В этом пожираемом болезнью теле зародилась и слепо прорастает новая жизнь. Тоже приговоренная к смерти. Она еще питается, еще жадно сосет, вбирает соки, подчиняясь только одному стремлению – расти и расти, этот комочек, еще без мысли, но уже наделенный желанием гулять в садах, кем-то стать, инженером, священником, солдатом, убийцей, человеком, наделенным желанием жить, страдать, изведать счастье и крах надежд... Инструмент осторожно двинулся вдоль незримой перегородки, нащупал нечто плотное, надломил, оторвал, потянул на себя – кончено... Конец неосознанному кружению крови, неизведанному дыханию, восторгу, печали, взрослению, становлению. Вместо всего этого – только мертвый, бледный клочок плоти да пара кровавых сгустков.

– От Буассона есть что-нибудь?

– Пока нет. Ждем с минуты на минуту.

– Ничего, время пока терпит.

Равич отошел от стола.

– Пульс?

Взгляд его упал за экран и неожиданно встретился с глазами Кэте Хэгстрем. Та смотрела на него – не слепо, а вполне ясным, осознанным взглядом, будто она уже все знает. Уж не очнулась ли? Он даже шагнул к ней, но тут же остановился. Вздор. Невозможно. Игра света, обман зрения.

– Пульс какой? – требовательно повторил он.

– Пульс сто. Давление сто двенадцать. Падает.

– Пора бы уже, – буркнул Равич. – Пора бы Буассону управиться.

Снизу едва слышно донесся телефонный звонок. Вебер уставился на дверь. Равич на дверь не смотрел. Он ждал. Он ее и так услышит. Вошла сестра.

– Да, – сообщил Вебер. – Рак.

Равич кивнул и снова принялся за работу. Снял щипцы, зажимы. Извлек ретрактор, салфетки. Эжени, стоя рядом, пересчитывала инструменты.

Начал зашивать. Он работал уверенно, точно, предельно сосредоточенно, но уже как автомат. Без единой мысли. Вот и смыкается могила. Пласты тканей ложатся слоями, один за другим, вплоть до последнего, внешнего. Он наложил скобки и выпрямился.

– Готово.

Эжени педалью снова привела операционный стол в горизонтальное положение и накрыла Кэте Хэгстрем простыней. «Шехерезада», проносилось в голове у Равича, только позавчера, платье от Мэнбоше, вы когда-нибудь были счастливы, не раз, мне страшно, вам же не впервой, обычная операция, цыгане с их музыкой. Он взглянул на часы над дверью. Двенадцать. Полдень. В городе сейчас распахиваются двери контор и фабрик, здоровые люди спешат на обед. Сестры вдвоем выкатили плоскую тележку из операционной. Равич содрал с себя резиновые перчатки и пошел в предоперационную мыть руки.

– У вас сигарета, – напомнил Вебер, мывший руки над соседней раковиной. – Губы обожжете.

– Ага. Спасибо. Только вот кто ей об этом скажет, Вебер?

– Вы, – отозвался тот без тени сомнения в голосе.

– Придется ей объяснить, почему мы ее разрезали. Она-то думала, мы сделаем все изнутри. Ей ведь не расскажешь, что мы обнаружили.

– Вы что-нибудь придумаете, – ободрил его Вебер.

– Вы считаете?

– Конечно. Время у вас есть, до вечера.

– А вы?

– Мне она не поверит. Она же знает, что оперировали вы, от вас и захочет все услышать. А если явлюсь я, она сразу насторожится.

– И то правда.

– Не понимаю, за такой короткий срок – чтобы такая опухоль. Как такое может быть?

– Может. Хотел бы я знать, что мне ей говорить.

– Что-нибудь придумаете, Равич. Какую-нибудь кисту или миому.

– Да, – повторил Равич. – Какую-нибудь кисту или миому.

Ночью он еще раз наведлся в клинику. Кэте Хэгстрем спала. Вечером проснулась, ее вырвало, примерно час она лежала без сна, потом снова уснула.

– Она о чем-нибудь спрашивала?

– Нет, – ответила розовощекая медсестра. – Она была еще не вполне в себе и ни о чем не спросила.

– Полагаю, она проспит до утра. Если раньше проснется и спросит, скажете ей, все прошло хорошо. Пусть спит дальше. В случае чего дадите ей снотворного. Если волноваться начнет, позвоните доктору Веберу или мне. Я скажу портье, где меня искать.

Он стоял посреди улицы, словно только что еще раз сумел улизнуть от смерти. Несколько часов отсрочки – прежде чем придется врать прямо в глаза, в эти милые, доверчивые глаза. Ночь вдруг показалась теплой и какой-то мерцающей. Серую проказу жизни опять милосердно прикроют несколько подаренных часов пощады, чтобы вспорхнуть под утро стайкой голубей. Но и эти часы – тоже обман, никакой это не подарок, в этой жизни подарков не бывает, только отсрочка, хотя, с другой стороны, – а что не отсрочка? Разве сама жизнь – не отсрочка, не пестроцветное марево, застывшее наш дальний, но неуклонный путь к черным, неумолимо надвигающимся вратам?

Он зашел в бистро, сел за мраморный столик у окна. В прокуренном зале было шумно. Подошел официант.

– Один дюбонне и пачку «Колониаль».

Он вскрыл пачку, вытянул толстенькую крепкую сигарету, закурил. За соседним столиком компания французов жарко спорила о своем продажном правительстве и о мюнхенском пакте[16 - Имеется в виду договор между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой, подписанный 30 сентября 1938 года, по условиям которого Англия и Франция дали согласие на оккупацию Германией Судетских областей Чехословакии в обмен на пакт о ненападении сторон. Договор был очевидной уступкой европейским стран агрессивной политике фашистской Германии.]. Равич слушал вполуха. Любому дураку ясно: мир вяло сползает навстречу новой войне. И никто особо не сопротивляется – отсрочка, еще год, еще два, вот и все, на что человечество еще способно подвигнуться. И здесь тоже только отсрочка – как во всем, всегда и везде.

Он выпил коктейль. Сладковатый, тягучий вкус аперитива все еще гулял во рту приторным осадком. Какого черта он его вообще заказал? Он махнул официанту.

– Коньяку. Отборного.

Глядя в окно, он пытался отогнать невеселые мысли. Если ничего поделаться нельзя – какой смысл попусту с ума сходить? Он вспомнил, когда он этот урок усвоил. Один из главных уроков в жизни...

В девятьсот шестнадцатом это было, в августе, под Ипром. Их рота за день до этого с передовой вернулась. Впервые за все месяцы на фронте им такие спокойные деньки достались. Вообще тишина. В тот день они лежали под теплым августовским солнышком вокруг костра и пекли накопанную в поле картошку. А еще через минуту от всего этого только воронка осталась. Внезапный артиллерийский залп, снаряд, угодивший прямо в костер, – когда он, без единой царапины, очнулся, то подле себя сразу увидел двоих убитых, а чуть поодаль его друг Пауль Месман, тот самый Пауль, которого он знал с малолетства, с которым они вместе играли, вместе в школу пошли и вообще были не разлей вода, – этот Пауль Месман дергался теперь на земле с развороченным животом, и из живота этого выползали внутренности.

На плащ-палатке они тащили его в лазарет самой короткой дорогой, вверх по пологому склону напрямик через пшеничное поле. Тащили вчетвером, каждый за свой угол, а он лежал на буром брезенте, придерживая руками свои белые, жирные, окровавленные кишки, рот раскрыт, глаза бессмысленно выпучены.

Два часа спустя он умер. Перед смертью все кричал: «Одной меньше...»

Равич запомнил, как они вернулись. Он, как неживой, сидел в бараке. Первый раз в жизни он такое видел. Тут его и нашел Качинский, их ротный, до войны он сапожником был.

– Пошли, – сказал ему Качинский. – У баварцев в буфете пиво есть и водка. И колбаса.

Равич уставился на него с ужасом. Как можно! Какое кощунство!

Качинский некоторое время смотрел на него, потом сказал:

– Ты пойдешь. А не пойдешь, я тебя измордую и силком отведу. Ты у меня пожрешь досыта, напьешься, а потом еще в бордель отправишься.

Равич ничего не отвечал. Тогда Качинский присел с ним рядом.

– Я знаю, что с тобой. И знаю, что ты сейчас обо мне думаешь. Но я уже два года воюю, а ты без году неделю. Сам посуди. Мы хоть чем-то Месману можем помочь? Нет. Думаешь, хоть кто-то из нас не пошел бы на все, будь хоть крохотная надежда его спасти?

Равич поднял на него глаза. Он знал: Качинский говорит правду.

А тот не унимался:

– Да, верно. Он убит. Его уже нет. Но нам-то послезавтра опять на передовую. И на сей раз такого курорта не будет. Если вот так все время сидеть и о Месмане думать, ты только зря себя изведешь. Нервы попусту издержашь, силу потеряешь. И этого вполне достаточно, чтобы при следующем артобстреле тебя прихлопнуло, как муху. Опоздаешь на полсекунды – и мы уже тебя, как Месмана, потащим. Кому от этого прок? Месману? Нет. Еще кому-то? Нет. Ты только себя угробишь, вот и все. Ты понял меня?

– Понял. Но я не смогу.

– Заткнись, сосунок! Еще как сможешь! Другие-то смогли! Не ты первый.

После той ночи ему и впрямь полегчало. Он пошел вместе со всеми, такой вот был его первый урок. Помогай, когда можешь, делай, что можешь, а когда ничем уже не помочь, забудь! Отвернись! Соberись с духом! Сострадание – это для спокойных времен. Не для таких, когда жизнь на волоске. Мертвецов похорони, а сам зубами вгрызайся в жизнь! Она тебе еще пригодится. Скорбь скорбью, но факты – упрямая вещь. И скорбь твоя ничуть не убавится оттого, что ты сумеешь посмотреть фактам в лицо. Ибо только так и можно выжить.

Равич допил коньяк. Французы за соседним столиком все еще трепались про свое правительство. Про позор Франции. Про Англию. Про Италию. Про Чемберлена. Слова, слова. Пока эти болтают, те, другие, действуют. И вовсе не

потому, что они сильнее, просто решительнее. Не потому, что они мужественней – просто знают, что отпора не встретят. Ладно, еще отсрочка, но как ее используют? Чтобы срочно вооружиться, наверстать упущенное, хотя бы собраться с силами? Нет, чтобы просто наблюдать, как вооружаются другие, – сидеть сложа руки и ждать, уповая на новую отсрочку. Как стадо моржей. Их на берегу сотни, а между ними прохаживается охотник с колотушкой и по очереди забивает одного за другим. Вместе они бы вмиг стерли его в порошок – но каждый лежит, смотрит, как убивают сородичей, и даже не шелохнется; ведь убивают-то соседей, правда, одного за другим. Вот она, европейская история. История моржового стада. Кровавый закат цивилизации. Жалкие, немощные сумерки богов. Пустопорожние лозунги о правах человека. Распродажа континента. Вода все прибывает, надвигается потоп, а на берегу лихорадочный торг за последние барыши. Все тот же убогий ансамбль песни и пляски на краю вулкана. Народы, покорно бредущие на скотобойню. Овец прирежут, блохи спасутся. Как всегда.

Равич ввинтил сигарету в пепельницу. Огляделся вокруг. К чему все это? Только что, совсем недавно, был сизый вечер, мягкий, кроткий и пушистый, как голубь. Мертвецов похорони, а сам зубами вгрызайся в жизнь! Век недолог. Главное – выстоять. Когда-нибудь ты еще понадобишься. Ради этого стоит уцелеть и быть наготове. Он подозвал официанта и расплатился.

Когда он вошел в «Шехерезаду», в зале было темно. Играла музыка, и одинокий луч прожектора полным кругом выхватывал из тьмы столик рядом с оркестром, за которым сидела Жоан Маду.

Равич остановился в дверях. Тут же подошел официант и пододвинул ему столик. Но Равич остался стоять, не сводя глаз с Жоан Маду.

– Водки? – спросил официант.

– Да. Графин.

Он сел. Налил себе рюмку и выпил залпом. Хотелось залить тоску, одолевавшую его весь вечер. Отогнать от себя гримасы прошлого, все эти ухмылки смерти – вид человеческого нутра, то вспоротого осколком снаряда, то разъеденного раком. Тут он понял, что сидит за тем же столиком, что и позавчера, когда был

здесь с Кэте Хэгстрем. Столик рядом как раз освободился. Но пересаживаться он не стал. Не все ли равно, за каким столиком сидеть, за этим ли, за соседним, Кэте Хэгстрем все равно уже не поможешь. Как это Вебер его однажды спросил? Отчего вы так расстраиваетесь, если случай все равно безнадежный? Сделаешь, что в твоих силах, и спокойно отправляешься домой. А что еще остается? Вот именно. Что остается? Он слушал голос Жоан Маду. Кэте Хэгстрем была права – голос и впрямь волнующий. Рука сама ухватила за горлышко графин с бесцветным напитком. Один из тех мигів, когда все теряет цвет, когда жизнь разом сереет прямо у тебя на глазах, под твоими же бессильными руками. Таинственный, непостижимый провал. Беззвучная, бездыханная пропасть между двумя вдохами. Резцы времени, неумолимо подтачивающие сердце. «Санта Лючия» – выводил голос в унисон с оркестром. Он наплывал, как морская волна, докатившаяся от несусветно дальних берегов, где все в цвету.

– Вам нравится?

– Кто? – очнулся Равич, машинально вставая.

У его столика стоял метрдотель. Он кивнул в сторону Жоан Маду.

– Да. Вполне.

– Не шедевр, конечно. Но на паузы между номерами годится.

Метрдотель поспешил дальше. Его острая борода черным клином промелькнула в луче прожектора, и он исчез в темноте. Равич посмотрел ему вслед, сел и снова потянулся за рюмкой.

Прожектор угас. Оркестр заиграл танго. Освещенные столики выплыли из темноты, а над ними, смутно, и лица посетителей. Жоан Маду уже шла между столиками. По пути несколько раз остановилась, пропуская пары, выходившие танцевать. Равич смотрел на нее. Она тоже его видела. На лице ни тени удивления. Она шла прямо к его столику. Он встал, отодвинул столик, пропуская ее к банкетке. На помощь ему поспешил официант.

– Спасибо, я справлюсь, – сказал Равич. – Только рюмку еще одну нам принесите.

Он подвинул столик на место и наполнил поданную официантом рюмку.

– У меня водка, – пояснил он. – Не помню, вы ее пьете?

– Да. Мы с вами ее уже пили. В «Прекрасной Авроре».

– Верно.

«Мы и здесь уже однажды были, – вспомнил Равич. – С тех пор целая вечность прошла. Три недели. Тогда ты сидела здесь в своем плащишке, комочек горя, готовый, казалось, вот-вот угаснуть в полумраке. А теперь...»

– Будем, – сказал он.

Она просветлела лицом. Не улыбнулась, нет, просто лицо ее как бы само высветилось.

– Давненько я этого не слышала, – проговорила она. – Будем.

Он выпил и взглянул на нее. Высокие брови, глаза вразлет, губы – все, что прежде казалось выцветшим, стертым и как бы разрозненным, теперь вдруг слилось воедино и предстало лицом – ясным, светлым, но и загадочным, причем главной загадкой этого лица была именно его открытость. Оно ничего не прятало, а значит, ничего и не выдавало. «Как же я раньше этого не видел? – удивлялся Равич. – Хотя, наверно, ничего такого и не было, все заслонили, должно быть, растерянность, горе и страх».

– Сигарета у вас не найдется?

– Только алжирские. Крепкие, черный табак. – Равич уже хотел кликнуть официанта.

– Не такие уж они крепкие, – сказала она. – Вы меня уже угощали. На Альмском мосту.

– И то правда.

«Может, правда, а может, и не совсем, – подумал он. – Ты была тогда бледным затравленным зверьком, ты была вообще никем. Потом между нами и еще кое-что было, а теперь вдруг все это быльем поросло, даже и не поймешь – было, не было».

– Я уже заходил сюда, – сказал он. – Позавчера.

– Я знаю. Я вас видела.

О Кэте Хэгстрем она не спросила. Сидит себе напротив в уголке, спокойная, расслабленная, и курит, всецело поглощенная каждой затяжкой. Потом выпила, опять-таки спокойно и неспешно, всецело поглощенная каждой выпитой каплей. Всякое действие, пусть даже самое пустяковое, казалось, захватывает ее безраздельно. И отчаяние ее тогда тоже было безраздельным, припомнил Равич, точно так же, как ее нынешняя невозмутимость. Откуда вдруг взялась и эта теплота, и уверенность в себе, и само собой разумеющаяся непринужденность? Уж не в том ли причина, что жизнь ее сейчас ничто не тревожит извне? Как бы там ни было, он ощущал лишь одно – лучистое тепло.

Графин опустел.

– Продолжим то же самое? – спросил он.

– А чем вы меня тогда угощали?

– Когда? Здесь? По-моему, мы тогда много всего вперемешку пили.

– Нет. Не здесь. В первый вечер.

Равич попытался припомнить.

– Не знаю. Запомнил. Может, коньяк?

– Нет. По цвету похоже на коньяк, но что-то другое. Я всюду спрашивала, хотела найти, но попадалось все время не то.

– Зачем? Это было так вкусно?

– Не в том дело. Просто никогда в жизни меня ничто так не согревало.

– И где же мы пили?

– В небольшом бистро неподалеку от Арки. Там еще лесенка была в подвал. Народу немного было, шоферы, две-три девицы. А у официанта татуировка на руке, ну, с женщиной.

– А, припоминаю. Скорей всего это был кальвадос. Яблочная водка, в Нормандии делают. Такая не попадалась?

– По-моему, нет.

Равич махнул официанту.

– У вас кальвадос есть?

– Нет, сударь. К сожалению. Никто не заказывает.

– Слишком простецкий напиток для такого заведения. Да, скорей всего это был кальвадос. Жаль, не можем удостовериться. Проще всего было бы в тот же кабачок наведаться. Но сейчас нельзя.

– Почему нельзя?

– Разве вы не обязаны тут оставаться?

– Нет. Я уже освободилась.

– Прекрасно. Тогда пошли?

– Пошли.

Кабачок Равич отыскал без труда. На сей раз там было довольно безлюдно. Официант с голой девицей на бицепсе только мельком глянул на них, после чего, шаркая шлепанцами, выскользнул из-за стойки и протер для них столик.

– Прогресс, – отметил Равич. – В тот раз такого не было.

– Не этот столик, – сказала Жоан. – Вон тот.

Равич улыбнулся:

– Вы так суеверны.

– Иногда.

Официант стоял рядом.

– Точно, – согласился он, поиграв татуировкой. – В прошлый раз вы там сидели.

– Неужто помните?

– Конечно.

– Вы бы в генералы могли выйти, – сказал Равич. – С такой-то памятью.

– Я никогда ничего не забываю.

– Тогда я только одному удивляюсь: как вы еще живы? Может, вы еще помните, что мы пили?

– Кальвадос, – не задумываясь, ответил официант.

– Отлично. Тогда и сегодня будем пить то же самое. – Равич обернулся к Жоан Маду. – Как просто разрешаются иные вопросы. Посмотрим, так же ли он хорош на вкус.

Официант уже нес рюмки.

– Двойные. Вы тогда заказали два двойных.

– Вы начинаете меня пугать, милейший. Может, вы еще помните, во что мы были одеты?

– Пальто и плащ. На даме был берет.

– Да вы здесь просто пропадаете ни за грош. Вам бы в варьете работать.

– А я и работал, – невозмутимо отозвался тот. – В цирке. Я же вам говорил. Забыли?

– Забыл. К стыду своему.

– Господин вообще забывчив, – заметила Жоан, обращаясь к официанту. – Забывать он мастак. Почти такой же, как вы все помнить.

Равич поднял глаза. Она смотрела прямо на него. Он усмехнулся.

– Может, не такой уж и мастак, – бросил он. – А теперь отведаем-ка лучше кальвадоса. Будем!

– Будем!

Официант все еще стоял возле их столика.

– Что позабудешь, того потом в жизни недостает, месье, – заметил он. Похоже, тема была для него еще далеко не исчерпана.

– Верно. А что запомнишь, превращает твою жизнь в ад.

– Только не мою. Прошное – оно же прошло. Как оно может кого-то мучить?

– Как раз потому, что его не воротишь, дружище. Но вы, я погляжу, не только искусник, вы еще и счастливец. Это тот же кальвадос? – спросил он у Жоан

Маду.

– Нет, лучше.

Он посмотрел на нее. И его снова обдало легкой волной тепла. Он понял, что она имеет в виду, и его даже слегка обескуражило, что она способна так прозрачно на это намекнуть. Похоже, ее нисколько не заботило, как он ее слова воспримет. И здесь, в этом убогом кабачке, она уже расположилась как дома. Ни настырный свет голых электрических ламп, ни две шлюхи, что сидели поодаль и гонимы ей в бабушки, – ничто ей не мешало и ничуть ее не беспокоило. Все, чему он успел изумиться в полумраке ночного клуба, продолжало изумлять его и здесь. Это смелое, ясное лицо ни о чем не вопрошало, в нем было только спокойствие явности и еще чуть-чуть ожидания, – в сущности, совершенно пустое лицо, подумалось ему, лицо, способное, как небо, перемениться от малейшего дуновения. Лицо, готовое вобрать в себя любые твои грезы. Оно – как красивый пустующий дом, замерший в ожидании ковров и картин. Вместилище возможностей: хочешь, станет дворцом, хочешь – борделем. В зависимости от того, кто вздумает его заполнить. Насколько недалекоими кажутся рядом с ним все эти застывшие, закосневшие лица-маски.

Он спохватился: ее рюмка была пуста.

– Вот это я понимаю, – похвалил он. – Как-никак двойной кальвадос. Хотите еще один?

– Да. Если вы не торопитесь.

«Куда бы это я мог торопиться?» – пронеслось у него в голове. Потом он сообразил: ведь в прошлый раз она видела его с Кэте Хэгстрем. Он поднял глаза.

Лицо ее оставалось непроницаемым.

– Я не тороплюсь, – сказал он. – Завтра в девять мне оперировать, но это и все.

– И вы можете оперировать, когда так поздно ложитесь?

– Да. Это никак не влияет. Дело привычное. Да я и не каждый день оперирую.

Подошел официант, снова наполнил их рюмки. Кроме бутылки, он принес еще пачку сигарет и положил на стол. «Лоран», зеленые.

– Вы ведь эти в прошлый раз просили, точно? – торжествующе спросил он.

– Понятия не имею. Вы наверняка лучше помните. Верю вам на слово.

– Те самые, – подтвердила Жоан Маду. – «Лоран», зеленые.

– Видите, у дамы память лучше вашей, месье.

– Это еще вопрос. Но сигареты нам в любом случае пригодятся.

Равич вскрыл пачку и протянул ей.

– Вы все еще в той же гостинице? – спросил он.

– Да. Только комнату попросила побольше.

В зал ввалилась компания шоферов. Они устроились за соседним столиком, громогласно что-то обсуждая.

– Пошли? – спросил Равич.

Она кивнула.

Он подозвал официанта, расплатился.

– Вам точно не нужно обратно в «Шехерезаду»?

– Нет.

Он подал ей мантию, которую она, однако, надевать не стала, накинула на плечи. Это была норка, но из дешевых, а может, вообще подделка, – однако на ней она не смотрелась дешево. Дешево смотрится лишь то, что носится напоказ, подумал Равич. Ему уже случалось видеть дешевку даже из королевского

соболя.

– Тогда везем вас сейчас в гостиницу, – то ли предложил, то ли решил Равич, когда они вышли на улицу под мелкую осеннюю морось.

Она медленно обернулась.

– Разве мы не к тебе?

Ее лицо смотрело на него снизу, совсем близко. Фонарь над входной дверью высветил его полностью. Крохотные жемчужинки тумана сверкали в волосах.

– Да, – сказал он.

Подкатило и остановилось такси. Шофер подождал. Потом прищелкнул языком, ударил по газам и рванул с места.

– Я тебя ждала. Ты не знал? – спросила она.

– Нет.

Свет фонаря отражался в ее глазах, как в бездонном омуте. Казалось, в них можно тонуть и тонуть без конца.

– Я только сегодня тебя увидел, – признался он. – Прежде то была не ты.

– Не я.

– Прежде все было не то.

– Да. Я уже забыла.

Как накат и откат волны, он ощущал приливы и отливы ее дыхания. Все существо ее незримо и трепетно льнуло к нему, мягко, почти неосязуемо, но доверчиво и без боязни – чужая душа в чуждом холоде ночи. Он вдруг услышал биение собственной крови. Оно нарастало, пульсировало все сильнее – это не

только кровь в нем заговорила, это пробуждалась сама жизнь, тысячекратно им проклятая и благословенная, столько раз почитай что потерянная и чудом обретенная вновь, – еще час назад то была пустыня, сушь без края и конца, одно только безутешное вчера – и вот она уже нахлынула потоком, суля мгновения, в которые он уже и верить перестал: он снова был первым человеком на краю вод морских, из чьей пены мерцанием ослепительной красоты восставало нечто невероятное, тая в себе вопрос и ответ, отзываясь в висках необоримым гулом прибоя...

– Держи меня, – выдохнула Жоан.

Не спуская глаз с ее запрокинутого лица, он обнял ее. Ее плечи устремились в его объятие, как корабль в гавань.

– А тебя надо держать? – спросил он.

– Да.

Ее ладони легли ему на грудь.

– Что ж, значит, буду держать.

– Да.

Еще одно такси, взвизгнув тормозами, остановилось возле них. Шофер смотрел на них терпеливо и безучастно. У него на плече сидела маленькая собачонка в вязаной жилетке.

– Такси? – прокаркал водитель из-под густых пшеничных усов.

– Видишь, – сказал Равич. – Вот он вообще ничего о нас не знает. Ему и невдомек, что нас коснулось чудо. Он смотрит на нас, но не видит, насколько мы преобразились. В этом весь бред нашей безумной жизни: ты можешь обернуться архангелом, дурачком, преступником – и ни одна собака не заметит. Зато, не дай бог, у тебя пуговица отлетит – и тебе каждый встречный на это укажет.

– Никакой это не бред. Это даже хорошо. Просто нас предоставляют самим себе.

Равич глянул на нее. «Нас» – пронеслось у него в голове. Слово-то какое! Самое загадочное слово на свете.

– Такси? – еще громче гаркнул шофер, теряя терпение, и закурил сигарету.

– Пошли, – сказал Равич. – Этот все равно не отстанет. Профессионал.

– Зачем нам ехать? Пешком пойдем.

– Но дождь начинается.

– Какой это дождь? Туман. Не хочу в такси. Хочу с тобой пешком.

– Хорошо. Тогда дай я хоть растолкую ему, что с нами случилось.

Равич подошел к машине и перебросился с водителем парой слов. Тот расцвел в ослепительной улыбке, с неподражаемым шармом, на какой в подобных случаях способны одни французы, помахал рукой Жоан и укатил.

– Как же ты ему растолковал? – спросила Жоан, когда он вернулся.

– Деньгами. Самый доходчивый способ. К тому же он ночью работает, значит, циник. До него сразу дошло. Был вежлив, доброжелателен, хотя и с оттенком презрения.

Она с улыбкой прильнула к его плечу. Он чувствовал, как что-то раскрывается, ширится в душе, откликаясь во всем его существе теплом и нежностью, наполняя приятной истомой, словно тысячи ласковых рук влекут тебя вниз, и вдруг ему показалось невыносимым и немыслимым, что они все еще стоят рядом, на ногах, в смешном прямостоячем положении, с трудом удерживая равновесие на подошвах, этих узких и шатких точках опоры, вместо того чтобы, потеряв голову, повинувшись силе тяжести, уступить голосу стонающей плоти, подчиниться зову сквозь тысячелетия, из тех времен, когда ничего этого еще не было – ни умствований разума, ни вопросов, ни мучительных сомнений, – а только темное, счастливое забытие бурлящей крови...

– Пошли, – сказал он.

Сквозь нежную паутину дождя они пошли по пустынной антрацитовый мостовой, и вдруг в конце улицы перед ними опять всей своей безграничной ширью распласталась площадь, а над ней тяжелым густо-серым колоссом в серебристой дымке вздымалась и парила Триумфальная арка.

9

Равич возвращался в гостиницу. Утром, когда он уходил, Жоан еще спала. Он рассчитывал через час вернуться. С тех пор минуло еще добрых три часа.

– Здравствуйте, доктор, – окликнул его кто-то на лестнице, когда он поднимался на свой третий этаж.

Равич поднял глаза. Бледное лицо, копна всклокоченных черных волос, очки. Он не знает этого человека.

– Альварес, – представился тот. – Хайме Альварес. Вы меня не помните?

Равич покачал головой.

Мужчина наклонился и поддержнул брючину. От щиколотки до самого колена тянулся шрам.

– Теперь узнаете?

– Это я, что ли, оперировал?

Альварес кивнул.

– На кухонном столе, у самой передовой. Полевой лазарет под Аранхуэсом. Белый особнячок в миндальной рощице. Теперь вспомнили?

Равича вдруг обдало пряным дурманом цветущего миндаля. Он тонул в этом запахе, но тонул куда-то ввысь, словно поднимаясь по лестнице в затхлый подвал, откуда тошнотворно несло потом и спекшейся кровью.

– Да, – проговорил он. – Вспомнил.

В ярком свете луны раненые лежали на террасе штабелями. Плоды славных трудов нескольких немецких и итальянских летчиков. Женщины, дети, крестьяне – все, кто угодил под бомбежку. Ребенок без лица; беременная женщина, вспоротая до самой груди; старик, испуганно сжимавший в левой руке оторванные пальцы правой, – надеялся, что их еще можно пришить. И над всеми – густой миндальный аромат ночи и свежевypавшей росы.

– И как нога? В порядке? – спросил Равич.

– Более-менее. Сгибается не до конца. – Альварес слабо улыбнулся. – Но переход через Пиренеи осилила. Гонсалеса убили.

Равич понятия не имел, кто такой Гонсалес. Зато вдруг вспомнил молоденького студента, который ему ассистировал.

– А как там Маноло, не знаете?

– Попал в плен. Расстреляли.

– А Серна? Бригадный командир?

– Убит. Под Мадридом.

Альварес снова улыбнулся. Улыбка была машинальная и неживая, она появлялась ни с того ни с сего, вне связи со словами и чувствами.

– Мура и Ла Пенья тоже попали в плен. Расстреляны.

Равич не помнил ни Муру, ни Ла Пенью. Он пробыл в Испании всего полгода, пока не прорвали фронт и не расформировали их госпиталь.

– Карнеро, Орта и Гольдштейн в концлагере, – сообщил Альварес. – Во Франции. Блатский тоже уцелел. Перешел границу и где-то там прячется.

Равич смутно припомнил лишь Гольдштейна. Слишком много лиц тогда перевидать пришлось.

– А вы, значит, тут живете? – спросил он.

– Да. Мы вчера поселились. Вот тут. – Он кивнул в сторону третьего этажа. – До этого в лагере торчали у самой границы. Выпустили наконец. Хорошо еще деньги какие-то остались. – Он снова улыбнулся. – А тут кровати. Настоящие кровати. Хорошая гостиница. И даже портреты наших вождей на стенах.

– Да, – без тени иронии согласился Равич. – Приятно, должно быть, после всего.

Попрощавшись с Альваресом, он отправился к себе в номер.

В комнате было прибрано и пусто. Жоан не было. Он осмотрелся. Она ничего не оставила. Он, впрочем, и не ожидал ничего.

Он позвонил. Горничная явилась довольно быстро.

– Дама ушла, – сообщила она прежде, чем он успел о чем-либо спросить.

– Это я и сам вижу. Откуда вы знаете, что здесь кто-то был?

– Но, господин Равич... – Девушка сделала обиженное лицо.

– Она позавтракала?

– Нет. Я ее не видела. Иначе я бы уж позаботилась. Помню с прошлого раза.

Равич глянул на нее. Последние слова ему не понравились. Он сунул горничной несколько франков в кармашек передника.

– Вот и прекрасно, – сказал он. – И впредь будете действовать так же. Завтрак подадите, только если я попрошу. А убирать приходите, только когда в комнате никого нет.

Девушка понимающе улыбнулась:

– Как скажете, господин Равич.

Он с неприязнью проводил горничную глазами. Он знал, о чем та думает. Решила, что Жоан замужняя дама и не хочет, чтобы ее здесь видели. Прежде он бы только посмеялся. Но сейчас его это покорило. С чего вдруг, подумал он, передернув плечами. Потом подошел к окну. Гостиница – она и есть гостиница. Тут уж ничего не поделаешь.

Он распахнул окно. Пасмурный день стлался над крышами. В водосточных желобах буйствовали воробьи. Этажом ниже переругивались два голоса – мужской и женский. Должно быть, опять Гольдберги. Он на двадцать лет старше жены. Оптовый хлеботорговец из Бреслау. Его жена крутит шашни с эмигрантом Визенхофом. И свято верит, что никто об этом не знает. Хотя единственный, кто не в курсе, это ее муж.

Равич закрыл окно. Нынче утром он оперировал желчный пузырь. Совершенно анонимный пузырь кого-то из пациентов Дюрана. Кусок живота безвестного мужчины, который он вместо Дюрана взрезал. За двести франков. После этого он зашел к Кэте Хэгстрем. У нее был жар. Сильный. Он с час примерно у нее просидел. Спала она беспокойно. Вообще-то ничего чрезвычайного. Но лучше бы жара все-таки не было.

Он все еще смотрел в окно. Это странное чувство опустошенности, какое бывает после всякого «после». Застланная постель, которая уже ни о чем не напоминает. Новый день, безжалостно растерзавший вчерашний, как шакал добычу. Ночные кущи, сказочно разросшиеся в темноте, уже снова где-то бесконечно далеко, словно фата моргана, мираж над пустыней минувших часов...

Он отвернулся. Взгляд упал на листок на столе – это адрес Люсьены Мартинэ. Ее недавно выписали. И все равно она его беспокоит. Он был у нее позавчера. Вообще-то нет необходимости навещать ее еще раз; но делать все равно нечего,

и он решил сходить.

Жила она на улице Клавеля. На первом этаже, в мясной лавке, могучего вида мадам, лихо орудуя топором, рубила мясо. Она была в трауре. Ее муж-мясник умер две недели назад. Теперь она, помыкая затурканным приказчиком, хозяйничала в лавке сама. Равич не упустил случая мимоходом на нее глянуть. Похоже, она собралась в гости. На ней уже была длинная вуаль черного крепа, но тут для кого-то из знакомых покупательниц срочно понадобилось отрубить свиную ногу. Вуаль взвилась над разделанной тушей, сверкнул топор, хрястнула кость.

– С одного удара, – удовлетворенно крикнула вдова, шваркнув ногу на весы.

Люсьена снимала каморку под самой крышей. Оказалось, она не одна. Посреди комнаты восседал на стуле хмырь лет двадцати пяти. Не потрудившись снять велосипедную кепку, он дымил самокруткой, прилепив ее к верхней губе, – видимо, так ему проще было разговаривать. Когда Равич вошел, он и не подумал встать.

Люсьена лежала на кровати. От растерянности она покраснела.

– Доктор... Я не знала, что вы придете... – Она оглянулась на парня. – А это...

– Никто, – грубо перебил ее хмырь. – Нечего тут именами швыряться. – Он откинулся на спинку стула. – А вы, значит, тот самый доктор?

– Как вы себя чувствуете, Люсьена? – спросил Равич, не обращая на парня внимания. – Это хорошо, что вы лежите.

– Да ей встать давно пора, – заявил хмырь. – Она в порядке. Пусть идет работает, а то это ж какие деньги...

Равич обернулся.

– Выйдите-ка отсюда, – сказал он.

– Что?

– Выйдите. За дверь. Мне надо осмотреть Люсьену.

Хмырь расхохотался.

– Это и при мне можно. Чего тут деликатничать? И вообще – чего ее осматривать? Вы только позавчера приходили. Деньжат еще за один визит слупить?

– Вот что, юноша, – спокойно сказал Равич. – Не похоже, чтобы эти деньжата вы платили. Так что не ваше дело, сколько это стоит и стоит ли вообще. А теперь выметайтесь.

Парень нагло осклабился и только шире раскорячил ноги. На нем были остроносые лаковые штиблеты и фиолетовые носки.

– Пожалуйста, Бобо, – попросила Люсьена. – Только на минуточку.

Бобо ее вообще не слушал. Он не сводил глаз с Равича.

– Хотя это даже кстати, что вы заглянули, – изрек он. – Я вам заодно и растолкую кой-чего. Если вы, господин хороший, надеетесь счет нам всучить за операцию, больницу и все такое – дудки! Мы ничего такого не просили – ни больницы, ни тем более операции, так что зря вы на большие деньги раззявились. Еще спасибо скажите, что мы с вас возмещения ущерба не требуем. Операция-то без спроса, без нашего согласия. – Он осклабился, обнажив два ряда полусгнивших зубов. – Что, съели? То-то. Бобо знает, что к чему, его на мякине не проведешь.

Парень был очень доволен собой. Он полагал, что шикарно все раскрутил и всех обвел вокруг пальца. Люсьена побледнела. Она боязливо поглядывала то на Бобо, то на доктора.

– Понятно теперь? – торжествующе спросил Бобо.

– Это тот самый? – спросил Равич у Люсьены. Та не ответила. – Значит, тот самый, – заключил Равич и смерил Бобо взглядом.

Тощий долговязый хмырь в дешевом шарфике искусственного шелка вокруг цыплячьей шеи, на которой пугливо пляшет кадык. Покатые плечи, нос крючком, тяжелая челюсть дегенерата – типичный сутенер из предместья, прямо как с картинки.

– Что значит «тот самый»? – ошетинился Бобо.

– По-моему, вам достаточно ясно и не один раз было сказано: выйдите отсюда. Я должен произвести осмотр.

– Да пошел ты! – огрызнулся Бобо.

Равич так и сделал: пошел прямо на Бобо. Уж очень тот ему надоел. Парень вскочил, попятился, и в тот же миг в руках у него оказалась тонкая, с метр длиной, веревка. Равич сразу понял, что тот задумал: нырнуть под руку, из-за спины накинуть ему веревку на шею и душить. Прием хотя и подлый, но действенный, особенно если противник такого не ждет и намерен только кулаками работать.

– Бобо! – взвизгнула Люсьена. – Бобо, не смей!

– Ах ты, молокосос, – усмехнулся Равич. – Жалкий трюк с удавкой? Хитрее ничего не придумал?

Бобо растерялся. Глазенки его испуганно забегали. В тот же миг Равич одним рывком сдернул с него пиджак до локтей, разом обездвижив парню обе руки.

– Что, такому тебя не учили? – Распахнув дверь, он взашей вытолкал Бобо в коридор. – Захочешь научиться, пойдя повоюй сперва, апач недоделанный! И больше не приставай к взрослым.

Он запер дверь на ключ.

– Так, Люсьена, – сказал он. – Ну, давайте посмотрим.

Та вся дрожала.

– Спокойно, спокойно. Все уже хорошо. – Он стянул с кровати старенькое бумазейное покрывало и сложил его на стуле. Потом откинул зеленое одеяло.

– Пижама? А это еще зачем? Вам же в ней неудобно. И вставать вам тоже особенно ни к чему.

Она ответила не сразу.

– Это я только сегодня надела.

– У вас что, не хватает ночных рубашек? Я могу вам парочку из клиники прислать.

– Нет, не в том дело. Я потому пижаму надела, что знала... – Она глянула на дверь и продолжила шепотом: – Знала, что он придет. Он говорит, мол, вовсе я никакая не больная. Ну и не хочет больше ждать.

– Что? Жаль, я не знал. – Равич метнул яростный взгляд в сторону двери. – Подождет!

Как у всех слабеньких, малокровных женщин, у Люсьены была очень белая, нежная кожа. Через такую жилки просвечивают. Девушка была хорошо сложена, узка в кости, тоненькая, изящная, но не тощая. Еще одна из бесчисленного числа девушек, подумалось Равичу, которых природа бог весть с какой целью создает столь прелестными существами, будто ведать не ведая, что большинство из них очень скоро превратятся в страхолюдин, изнуренных непосильным трудом или нездоровым образом жизни.

– Вам еще неделю надо постельный режим соблюдать, Люсьена. Вставать, конечно, можно, по комнате ходить тоже, но немного. И будьте осторожны. Тяжелого не поднимать! И по лестнице еще несколько дней не ходите. Есть кто-нибудь, кто вам поможет? Кроме этого Бобо?

– Хозяйка. Но она и так уже ворчит.

– Больше никого?

– Нет. Мари раньше была. Так умерла.

Равич оглядел комнату. Чистенько и бедно. На подоконнике горшки с фуксиями.

– Ну а Бобо? – спросил он. – Снова объявился, как только опасность миновала?

Люсьена ничего не ответила.

– Почему вы его не прогоните?

– Он не такой уж плохой, доктор. Только буйный...

Равич смотрел на нее молча. Любовь, подумал он. И это тоже любовь. Таинство, древнее как мир. Она не только озаряет радугой серое небо будничности, она даже распоследнюю погань способна романтическим ореолом украсить; она и чудо, она и издевка бытия. Ему вдруг сделалось немного не по себе, будто и он, пусть невольно, пусть косвенно, повинен в этой несообразности.

– Ладно, Люсьена, – сказал он. – Не берите в голову. Вам сперва надо выздороветь.

Она с облегчением кивнула.

– А насчет денег, – смущенно залепетала она, – вы его не слушайте. Это он так просто говорит. Я все выплачу. Все. По частям. Когда мне снова на работу можно?

– Недели через две, если не наделаете глупостей. Особенно с Бобо. Не вздумайте, Люсьена! Если не хотите умереть. Вы меня поняли?

– Да, – ответила девушка без особой убежденности в голосе.

Равич укрыл одеялом ее хрупкое тельце. А подняв глаза, вдруг увидел, что она плачет.

– А раньше никак нельзя, доктор? – спросила она. – Я ведь и сидя могла бы работать. Мне ведь надо...

– Может быть. Там видно будет. В зависимости от вашего поведения. Скажите мне лучше, как зовут ту повитуху, которая вами занималась.

Опять этот отпор в ее глазах.

– Да не пойду я в полицию, – успокоил ее Равич. – Ручаюсь. Я только попытаюсь вернуть деньги, которые вы ей заплатили. Вам же легче будет. Сколько вы отдали?

– Триста франков. Только от нее вам их ни в жизнь не получить.

– Попытка не пытка. Как ее зовут, где живет? Вам, Люсьена, она больше не понадобится. Вы уже не сможете иметь детей. И не бойтесь вы ее, ничего она вам не сделает.

Девушка все еще колебалась.

– Там, в ящике, – вымолвила она наконец. – В ящике справа.

– Вот эта записка?

– Да.

– Хорошо. На днях схожу туда. Ничего не бойтесь. – Равич надел пальто. – Что такое? Зачем вы встаете?

– Бобо. Вы его не знаете.

Он улыбнулся:

– Я и не таких знавал. Лежите ради бога. Судя по тому, что я видел, опасаться особо нечего. До свидания, Люсьена. Я на днях еще зайду.

Повернув ключ и одновременно нажав ручку, Равич стремительно распахнул дверь. Но в коридоре никого не оказалось. Он так и думал. Знает он таких смельчаков.

В мясной лавке теперь остался приказчик, пресный малый с желтушным лицом без тени азарта, присущего хозяйке. Он тоскливо что-то тяпал тесаком. После похорон он совсем вялый стал. А все равно – жениться на хозяйке у него шансов ноль. Пустые хлопоты! Скорее она и его тоже на погост снесет. Все это громогласно разъясняял вязальщик метел, устроившийся в бистро напротив. Парень и так уже заметно сдал. А вдова, напротив, расцветает на глазах. Равич выпил рюмку черносмородиновой наливки и расплатился. Он-то рассчитывал повстречать в бистро Бобо, да не вышло.

Жоан Маду вышла из дверей «Шехерезады» и распахнула дверцу такси, в котором ее ждал Равич.

– Давай скорее, – выдохнула она. – Скорее отсюда. Поехали к тебе.

– Стряслось что-нибудь?

– Нет. Ничего. Просто довольно с меня этой ночной жизни.

– Секунду. – Равич подозвал цветочницу, что торговала у входа. – Матушка, – сказал он ей, – отдай мне все розы. Сколько с меня будет? Только по совести.

– Шестьдесят франков. Только для вас. За то, что вы мне рецепт от ревматизма выписали.

– Помогло?

– Нет. Да и как оно поможет, ежели я ночь напролет в сырости стою?

– Из всех моих пациентов вы самая благоразумная.

Он взял розы.

– Это вместо извинения за то, что сегодня утром тебе пришлось проснуться одной да еще и остаться без завтрака, – сказал он Жоан, кладя розы на пол между сиденьями. – Хочешь чего-нибудь выпить?

– Нет. Поедем к тебе. Только цветы с пола подними. Положи сюда.

– Прекрасно и там полежат. Цветы, конечно, надо любить, но не стоит с ними церемониться.

Она резко к нему повернулась.

– Ты хочешь сказать: не надо баловать, кого любишь?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Триумфальная арка – монумент на площади Звезды (или площадь Этуаль, ныне площадь Шарля де Голля), возведенный по указу Наполеона в ознаменование побед французского оружия. – Здесь и далее примеч. пер.

2

«Навеки Шарль» (фр.).

3

Лавинь, Эрнст Губерт (1834–1893) – французский художник и скульптор.

4

«Сделано в Германии» (англ.).

5

Иностранцы поганые (фр.).

6

Имеются в виду так называемые африканские армии генерала Франко, сформированные в значительной мере из жителей Северной Африки арабского происхождения.

7

В ходе гражданской войны 26 апреля 1937 года город Герника, древний центр баскской культуры, находившийся в руках республиканцев, был подвергнут

многочасовой варварской бомбардировке германской авиацией. Итальянские и немецкие боевые соединения принимали участие в боевых действиях на стороне франкистов.

8

«Да здравствует!» (исп.)

9

Дорогая! (фр.)

10

Будем здоровы (ит.).

11

Примо де Ривера и Орбанеха, Мигель (1870–1930) – испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 годах – диктатор, глава правительства Испании при короле Альфонсе XIII.

12

Кейпо де Льяно и Сьерра, Гонсало (1875–1951) – испанский генерал, один из военачальников франкистских войск в гражданской войне 1936–1939 годов в Испании.

13

Хуан Негрин, Лопес (1892–1956) – испанский политический деятель, в 1937–1939 годах премьер-министр правительства республиканской Испании.

14

Эберт, Фридрих (1871–1926), Штреземан, Густав (1878–1929), Носке, Густав (1868–1946) – немецкие политические деятели, в 20-е годы – лидеры правительства Веймарской республики.

15

Рём, Эрнст Юлиус (1887–1934) – один из лидеров немецких национал-социалистов, соратник Гитлера, руководитель так называемых штурмовых отрядов (СА). Расстрелян летом 1934 года в ходе передела власти внутри нацистской правящей верхушки.

16

Имеется в виду договор между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой, подписанный 30 сентября 1938 года, по условиям которого Англия и Франция дали согласие на оккупацию Германией Судетских

областей Чехословакии в обмен на пакт о ненападении сторон. Договор был очевидной уступкой европейских стран агрессивной политике фашистской Германии.

Купить: <https://knigopoisk.com/erih-mariya-remark/triumfalnaya-arka-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)